

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА, НА ПЛЕЧАХ КОТОРОГО
ДЕРЖАЛИСЬ ВСЕ ИНКАРНАЦИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО –
МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
И ДЕРЖИТСЯ НЫНЕ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Русская Нация

или Рассказ
об истории
ее отсутствия



СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВ

Сергей Михайлович Сергеев

Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23135065
Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия:
Центрполиграф; Москва; 2017
ISBN 978-5-227-06623-7

Аннотация

Предлагаемая книга, ставшая завершением многолетних исследований автора, не является очередной историей России. Это именно история русской нации. Поэтому читателю, думающему почерпнуть здесь элементарные сведения об отечественном прошлом, лучше обратиться к другим работам, благо их множество. Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной книги с названием «История русской нации». На первый взгляд это кажется досадной нелепостью, очередной грустной иллюстрацией к пушкинскому: «Мы ленивы и нелюбопытны». На самом же деле за этим фактом стоит сама логика русской истории. Ибо вовсе не случайно отечественная историография предпочитает описывать историю государства Российского, а не историю русского народа.

Содержание

От автора	6
Введение. Как возможна русская нация?	10
Глава 1. Русская федерация	35
Русь и русская земля	36
Три «ветви власти»	44
Был ли на Руси русский народ?	48
Русь и Запад	53
Дух свободы	57
Умственный выверт	61
Великое жестокое пленение русское	64
Распад «Русской Федерации»	70
Глава 2. Принцип Москвы	76
Самочинное личное властвование	79
Ордынский след	90
Пределы самовластья	98
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Сергей Михайлович Сергеев

Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия

© Сергеев С. М., 2017

© «Центрполиграф», 2017

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017

* * *

Моим предкам – Сергеевым и Сердцевым

...Признаться, изучая наше старое общество со всех сторон, я никогда полностью не упускал из виду новое общество. Я решил узнать не только от какого недуга скончался больной, но и как он мог бы выжить. Я уподобился тем врачам, которые в каждом отжившем организме пытаются подметить признаки жизни... Так, стоило мне встретить у наших предков одну из тех людских добродетелей, которыегодились бы нам больше всего и которых у нас почти не осталось, – подлинный дух свободы, страсть к великим свершениям, верность себе и делу, – я

их подчеркивал; равным же образом, обнаружив в законах, представлениях, нравах того времени следы некоторых пороков, которые, совершенно завладев старым обществом, все еще терзают нас, я постарался привлечь к ним внимание, с тем чтобы, отчетливо видя, какое зло они нам причинили, люди лучше поняли, какой вред они еще могут нам нанести.

Алексис де Токвиль. «Старый порядок и революция»

Надо совершенно спокойно – без чванства и высокомерия – сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный, в конце концов. Гордиться пока нечем.

Василий Шукшин, из рабочих записей начала 1970-х годов

От автора

Предлагаемая книга, ставшая завершением многолетних штудий автора, часть из которых вошла в сборник его статей «Пришествие нации?»¹, не является очередной *историей России*. Это именно *история русской нации* (о ее специфике подробно будет сказано во введении). Поэтому читателю, думающему почерпнуть здесь элементарные сведения об отечественном прошлом, лучше обратиться к другим работам, благо их множество. Чтение же данной книги как раз предполагает некое общее представление о русской истории, как минимум на уровне школьной программы.

Хотя книга написана не в жанре академического исследования, а в жанре исторической публицистики, она в то же время опирается на тщательное изучение достижений российской и зарубежной историографии, включая работы последних лет. Разумеется, я осознаю неравноценность разных частей своей «Истории». Будучи специалистом по XIX в., я не мог с той же глубиной и обстоятельностью исследовать и другие эпохи, так что главы, им посвященные, носят отчасти компилятивный характер (особенно это касается раздела о советском периоде). В том, что они были написаны на пристойном (как я надеюсь) уровне, главная заслуга принад-

¹ М.: Скимень, 2010.

лежит прекрасным знатокам тех или иных конкретных исторических сюжетов, чьи исследования безмерно облегчили мою задачу. Тем не менее автор усердно старался, чтобы концептуальная составляющая его труда при этом не оказалась «размыта». Для «облегчения» текста и уменьшения его и так весьма солидного объема пришлось отказаться от сносок и ограничиться краткой историографической библиографией, куда включены только самые важные публикации, и полностью исключить гигантский перечень источников.

Я хотел бы выразить искреннюю и глубокую признательность тем людям, которые очень помогли мне в течение полутора лет работы над этим весьма трудоемким сочинением:

Прежде всего, новосибирскому предпринимателю и публицисту Игорю Макурину – только благодаря его бескорыстной материальной поддержке книга смогла быть написана в сравнительно короткий срок. Ему же я обязан пониманием важности проблемы частной собственности для отечественной истории.

Светлане Волошиной, неизменно дарившей мне вдохновение.

Друзьям и коллегам по журналу «Вопросы национализма», где печатались главы из этого сочинения: Константину Крылову, Надежде Шалимовой, Елене Галкиной, Олегу Кильдюшову, Олегу Неменскому, Михаилу Ремизову, Павлу Святенкову, Александру Севастьянову, Валерию Соловьеву. Кто-то из них сегодня уже отошел от журнала, для ко-

го-то иные выводы этой книги покажутся спорными или даже неприемлемыми, но интеллектуальный диалог со всеми ними был для автора исключительно важен, а работы Валерия Соловья и дружеские беседы с ним стали первостепенным катализатором творческой активности автора.

Ирине Чечель, любезно публиковавшей отдельные фрагменты книги на сайте «Гефтер. ру».

Первым читателям / слушателям рукописи книги или ее отдельных глав: Александру Ефремову и Александру и Наталье Ивановым, сделавшим ряд важных замечаний.

Особая благодарность доктору исторических наук Владимиру Дмитриевичу Кузнецhevскому, по рекомендации которого рукопись книги оказалась в издательстве «Центрполиграф».

Некоторые интересные цитаты и факты были найдены автором благодаря «наводкам» Сергея Беякова, Ярослава Бутакова, Константина Ерусалимского, Александра Котова, Александра Михайловского, Дмитрия Павлова, Андрея Тесли.

Невозможно не упомянуть здесь также и нескольких людей, в разное время ушедших от нас (*«Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностью: были»*). Блестящего филолога и редактора, воплощение интеллигентности и порядочности, Михаила Дмитриевича Филина (1954–2016), предпринявшего первую, пусть и неудачную, попытку издания моей «Истории». Профессора МПГУ Аполлона Григорьевича

Кузьмина (1928–2004), моего Учителя, привившего мне еще на студенческой скамье вкус к историческому исследованию. И Анну Алексеевну Коваленко (1969–2014), много лет бывшую самым близким для автора человеком, с которой незадолго до ее кончины я поделился замыслом этой книги и которая сразу же горячо поверила в его осуществимость, передав эту веру и мне.

Сергей Сергеев

21 октября 2016 г.

Введение. Как возможна русская нация?

Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной книги с названием «История русской нации» (если только не считать переименованных таким образом при недавнем переиздании «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова). На первый взгляд это кажется досадной нелепостью, очередной грустной иллюстрацией к пушкинскому: «Мы ленивы и нелюбопытны». На самом же деле за этим фактом стоит сама логика русской истории. Ибо во все не случайно отечественная историография предпочитает описывать *историю государства Российского*, а не *историю русского народа* (немногочисленные попытки в последнем направлении, начиная с Н. А. Полевого, как правило, далее декларации о намерениях не шли).

Для господства такого подхода существуют вполне объективные причины – почти на всем протяжении нашего прошлого (по крайней мере с XV в.) главным его действующим лицом была верховная власть, народ же выступал в качестве самостоятельной силы лишь в очень редкие, кризисные эпохи вроде Смут начала XVII и XX в. Невольно возникает вопрос: *а существовала и существует ли русская нация как*

таковая?

Здесь надо сразу пояснить, что автор подразумевает под словом «нация» не особую *этнокультурную* общность (каковой русские, несомненно, являлись и являются), а общность *этнополитическую* – народ, выступающий как политический субъект с юридически зафиксированными правами. Нужно также оговориться, что в предлагаемой книге не обсуждаются проблемы *этничности* и ее природы – биологической или социальной, на сегодняшнем уровне развития науки однозначного ответа на этот вопрос быть не может. «*Нация – это пакет политических прав*», – лапидарно формулирует современный политолог П. В. Святенков. Именно в этом смысле и понимается нация в современной гуманитарной науке и международном праве. И такое понимание имеет давние корни: в Средние века в Западной Европе нацией (или народом в Восточной Европе) величали социально-политическую элиту данного этноса, обладающую привилегиями, законно признанными монархом.

Например, в Священной Римской империи германской нации «нация» – политическое сообщество немецких князей. В континентальной Европе указанное словоупотребление практиковалось вплоть до Французской революции, а в Польше даже до второй половины XIX в. Но в Англии уже в XVI в. это понятие стало использоваться по отношению ко всему населению, то есть весь этнос *как бы* признавался элитой. Тогда же это новое понимание начало проникать и на

континент. Скажем, в изданном в Венгрии латинском трактате *Tripatrium* говорится: «Под именем и названием народа... обычно понимают господ, прелатов, баронов и другую знать, равно как и вообще дворян, но не простой народ. Подобаает в этот термин включать в равной мере всех дворян и простонародье. Народ от простонародья отличается как род от вида. Имя народа означает вообще дворян, как знать, так и мелких, а также простой народ. Название же плебса подразумевает только простонародье».

Таким образом, идея единой нации стала «символическим возвышением народа до положения элиты» (Л. Гринфельд). Но с той же Французской революции в Европе (а в Новом Свете даже раньше, с революции Американской) пошел процесс не символического только, но и реального включения в нацию сначала средних, а затем и низших социальных слоев этноса путем приобретения ими политических прав, ранее доступных только знати. В этом и состоит сущность процесса нациестроительства, захватившего сначала Европу и Америку, а затем и весь мир в XIX–XX столетиях. «Условно говоря, нация – это проект всеобщей аристократии, когда все являются господами... Национализм в его идеальном воплощении – это программа всеобщей аристократизации общества» (К. А. Крылов).

Следует, однако, отметить, что не только *идея* нации имеет европейское происхождение, но и реализовалась она наиболее полно в странах европейской культуры. Тому есть

две причины. Первая, духовная, — *христианство*. «...Нация, и национализм — типично христианские явления, которые, коль скоро они встречаются где-либо еще, сделались таковыми в процессе вестернизации и подражания христианскому миру, даже если ему подражали в большей степени как западному, а не как христианскому. Единственное подлинное исключение из данного правила, которое я признаю, это евреи», — пишет британский историк Эдриан Гастингс.

И дело не только в наличии архетипической библейской модели нации в виде богоизбранного народа или в созданных, благодаря деятельности христианских церквей, национальных языках и литературах, о чем подробно рассказывает Гастингс. Безусловное равенство всех человеческих душ перед Богом, признание самоценности каждой человеческой личности, утверждаемое христианством, стало метафизической основой представления о естественности и неотъемлемости гражданских и политических прав для всех членов этноса. Современные историки пришли к выводу, что «та идея естественных прав, создание которой сразу в законченном виде долго приписывалось либеральным мыслителям XVII и XVIII веков, на самом деле принадлежит католическим канонистам, римским папам, профессорам католических университетов и католическим теологам» (Т. Вудс). Характерно, что идеология политической демократии самостоятельно не сформировалась ни в одной другой культуре, кроме европейской.

Вторая причина, социально-юридическая, – *феодализм* с его четко прописанной системой взаимных обязательств васалов и сеньоров, использующей наследие римского права. Об этом хорошо написал Г. П. Федотов: «В феодальном государстве бароны – не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением. Формула „помещик-государь“, хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них – его „тело“ – защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля... *В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии* (курсив мой. – С. С.). Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. „Мужик“ стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть „мой государь“, и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они)».

О том же говорит и классик американской исторической социологии Баррингтон Мур: «...достаточно обоснован тот тезис, что западный феодализм содержал определенные институты, отличавшие его от других обществ в благоприятную для демократии сторону. ...Это постепенный рост им-

мунитета отдельных групп и персон от власти правителя, а также концепция права на сопротивление несправедливой власти. Наряду с концепцией договора как общего дела, свободно предпринимаемого свободными личностями, выведенной из феодальных отношений вассальной зависимости, этот комплекс идей и практик образует главное наследие, оставленное европейским средневековым обществом современным западным представлениям о свободном обществе. Такой комплекс сложился только в Западной Европе».

(Между прочим, античная демократия также имеет аристократическое происхождение. Так, в Афинах «аристократические духовные ценности... в ходе демократизации полиса... распространились на весь гражданский коллектив, на весь демос... Такие ценности, как политическая свобода, высокая ценность личности, равенство граждан перед законом, коллективный и выборный характер властных органов, прочно вошли в арсенал демократии. Но не следует забывать о том, что зародились эти ценности в аристократической среде и в аристократическую эпоху» (И. Е. Суриков).

Низы всегда подражают верхам. Правило, работающее в европейской истории, кажется, без исключения: *модель отношений между верховной властью и социально-политической элитой, устойчиво сложившаяся в Средние века, определяет не только характер политического строя государств, но и социокультурные поведенческие модели народов их населяющих, до сего дня.*



Сложность и драматизм русского случая состоит в том, что из двух указанных выше предпосылок нациестроительства в России наличествовала только первая – духовная (но институционализированная далеко не в такой степени, как в странах латинского мира, в силу подчиненности русской церкви государству). Что до второй, то социальная структура русского общества (особенно начиная с монгольского ига) была далека от европейского феодализма. Власть великих московских князей, а затем и царей, в силу ряда исторических причин сделалась, говоря словами современного историка А. И. Фурсова, «автосубъектной и надзаконной». Независимые общественные слои на Руси либо не сложились, либо пришли в упадок. Московские бояре по отношению к своим государям не обрели статуса вассалов, а были лишь не имеющими никаких гарантированных прав подданными. Следовательно, русскому народу в плане привилегий нечего было унаследовать у своей аристократии (вероятно, именно это имел в виду Пушкин, когда написал: «Феодализма у нас не было, и тем хуже»). Лишь при Екатерине II дворянство Российской империи получило фиксированные права – да и то лишь гражданские, а не политические, и именно после этого началось развитие русского национального самосознания в точном смысле слова. Но самосознанию этому пря-

мо противоречили социально-политические институты империи, предназначенные, как и прежде, для обслуживания «автосубъектной и надзаконной» монархии. И только после революции 1905 г. в России началось строительство основ национального государства, оборванное мировой войной и захватом власти большевиками, восстановившими в новом обличье все ту же надзаконную структуру власти. От этого многовекового наследства мы не избавились и по сей день.

Таким образом, русские в течение всей своей истории, за исключением краткого периода 1905–1917 гг., не являлись политической нацией. Они были и остаются «государевыми людьми», *служилым народом*, на плечах которого держались все инкарнации государства Российского – Московское царство, Российская империя, Советский Союз – и держится ныне Российская Федерация. В прошлом и настоящем они обеспечивали внешнеполитические амбиции своих надзаконных правителей и скрепляли за свой счет единство множества разнообразных нерусских народов, входивших в состав одной из величайших империй в мировой истории. Но никаких политических прав этот «государствообразующий» этнос не имел и не имеет – только обязанности. Верховная власть шесть веков подряд делала все возможное для уничтожения у русских даже намек на институты национального самоуправления. Русские должны были подчиняться непосредственно государству, им не положено было иного коллективизма, кроме спускаемого сверху. У них, как

у народа, на котором держится основание империи, вообще не могло быть других интересов, кроме «державных».

Историк А. И. Яковлев накануне 1917 г. в беседе с коллегами сострил, что русская государственность стоит на трех основаниях: «1) русские против внешних врагов сражаются как львы, 2) между собой человек человеку – волк, 3) перед начальством – „чего изволите?“, по-собачьи». Добавим четвертое – работают как ломовые лошади. По точному замечанию грузинского философа Мераба Мамардашвили: *«Россия существует не для русских, а посредством русских...»* Взамен власть и ее идеологическая обслуга кормит русскую «сивку» разного рода «возвышающими обманами». Перечень последних хорошо известен:

1. Русские – не конкретный этнос, а таинственный сверхнарод, не имеющий этнического содержания. Русский – прилагательное, а не существительное.

2. Русским не нужны материальные блага и политические права, они должны думать только о высокой духовности и о том, как выполнить свою вселенскую миссию – спасение человечества.

3. Русские – не хозяева России, а «раствор», скрепляющий ее единство; не цель в себе, а средство для исполнения великих предначертаний начальства.

4. Что бы ни случилось, русские должны терпеть и молча сносить любые притеснения от начальства и иноплеменников – иначе все рухнет.

5. Без строгого начальства с плеткой русские ни на что хорошее не способны.

В. В. Розанов с замечательной меткостью называл подобную рефлексию «философией выпоротого человека».

* * *

Если все это так, то зачем же писать книгу об истории русской нации, которой не было, нет и неизвестно, будет ли?

Возможно, автору стоило бы назвать свое сочинение «История *отсутствия* русской нации». Мне представляется, что рассказ о русской истории через призму этого *отсутствия* поможет понять в ней очень важную особенность, не улавливаемую традиционным имперским дискурсом о колонизации бескрайних пространств, блестящих военных победах и грандиозном державном строительстве. Особенность эта состоит в том, что христианский, европейский по культуре своей народ стал главным материальным и человеческим ресурсом для антихристианской, по своей сути, «азиатской» государственности. (Автор – не востоковед, поэтому воздерживается от увлекательного поиска аналогий между социально-политическими институтами Востока и России, но не может не отметить, что описанный Л. С. Васильевым в его классической «Истории Востока» феномен «власти-собственности» вполне неплохо работает на русском материале. Равно как и веберовский «султанизм» – патримониаль-

ное господство, основанное на свободном от традиционных ограничений произволе.) В этом кричащем разрыве между русским сознанием и русским же общественным бытием – главная трагедия нашей жизни.

Указанный разрыв отмечал еще в конце XVI в. наблюдательный англичанин Джильс Флетчер, разумеется, не без британского высокомерия, но в целом оскорбительно верно:

«...они [русские] обладают хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, какие есть у других народов для развития их дарований воспитанием и наукой... Отчасти причина этому заключается... в том (...), что образ их воспитания (...) признается их властями самым лучшим для их государства и наиболее согласным с их образом правления, которое народ едва ли бы стал переносить, если бы получил какое-нибудь образование... равно как и хорошее устройство». О том же разрыве горько и пронзительно написал В. П. Астафьев в частном письме в феврале 1980 г.: «Может быть, мы и не были великими? Может быть, так в детстве и застряли? Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к этому склоняют, но великая культура, небывало самобытное величайшее искусство, созданное за короткий срок, – живое свидетельство зрелости нации».

В разговоре о нации важно понять, что она в идеале – не рой, не стадо, а свободное единство независимых личностей. Но именно последним-то на Руси всегда приходилось

трудно. Модель «самодержец – бесправные подданные», по «закону подражания», веками транслировалась сверху вниз на все этажи русского социума. В результате высшей – хотя и неформальной – ценностью последнего стала не личная независимость и свободная солидарность, а возможность властвовать, помыкая нижестоящими, притом что вышестоящие, в свою очередь, помыкают тобой. «Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном», – писал в 1851 г. М. А. Бакунин, а сказано будто о сегодняшнем дне. Так что пресловутая русская атомизированность и нетерпимость друг к другу совершенно закономерны – какие могут быть коллективизм и терпимость между миллионами маленьких самодержцев?

Один из умнейших и оригинальнейших русских людей, знаменитый собиратель олонекских былин и скромный проводник имперской политики в Польше в качестве вице-губернатора города Калиша П. Н. Рыбников утверждал, что в романах Толстого царит мирозерцание, проникнутое убеждением в ничтожности отдельной личности и растворяющее ее в народной массе. «Великий писатель земли русской» изображает и поэтизирует преимущественно покорных судьбе, лишенных всякой инициативы и характера «приниженных» людей (как сказал бы Аполлон Григорьев, «смирный тип»), а мало-мальски самостоятельные и свобод-

но развившиеся индивидуальности либо игнорирует, либо предаёт «злой смерти» (как Андрея Болконского).

Рыбников отчасти согласен с Толстым – да, действительно, преобладающий стиль «русского мира» именно таков, но это не его «онтология», а порождение определенных исторических обстоятельств, когда начиная с Московского царства «весь строй жизни стал абсолютистским, высшее сословие превратилось в служилых людей, явилось проклятие крепостного права. Куда было деться самостоятельной личности, что она могла значить перед силой сложившихся вещей?». Вследствие падения гражданской и общественной жизни и религиозная сфера деградировала «с одной стороны, до обрядности, с другой, до фатализма». «Вот почему, – резюмирует Павел Николаевич, исходя, видимо, и из собственного богатого жизненного опыта, – образованной русской личности тяжело жить в великорусской жизни. Если она выходит из традиционных рамок, ее гонит в бесплодное отрицание нигилизма; если она приобщается к своему племени, ей надобно наложить на себя печать смирения... и отказаться от всякой самостоятельной деятельности, от всякого самостоятельного мышления... Личности нигде развернуться в великорусской жизни... оттого там и жить так тошно».

От этого ощущения («тошно жить») даже и у великих русских людей случались приступы отчаяния. «Скучно, тяжело, и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести, – жаловался в одном из писем 1883 г. Н. С. Лес-

ков. – Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства... С чем же идти в жизнь этому стаду, и вдобавок еще самомнящему стаду?»

Проблему личности в «русском мире» осознавал, разумеется, не один Рыбников. Ей посвящена добрая половина отечественной литературной классики XIX столетия – все мы помним из школьной программы про «лишних людей». Но мало кто формулировал ее с такой четкостью, и, главное, мало кто так внятно объяснил ее генезис. Разве что В. В. Розанов в «Мимолетном» за 1914 год, пытаясь доказать ненужность для Российской империи ненавидимой им в ту пору интеллигенции, дал очень выразительный образ русского бытия, где независимой личности по определению нет места: «Мужики – пашут. Солдаты готовы отразить врага. Священники – хоронят, венчают, крестят. Держат „наряд“ и „идею“ над человеком. Царь блюдет все. „Да будет все тихо и благодатно“. Египет. Настоящий и полный Египет».

Вот именно – *Египет*, образец восточной, дохристианской деспотии!

Государство как было, так и осталось в России, по сути, главным собственником и главным работодателем, а при таком раскладе независимая личность как более-менее массо-

вый тип решительно невозможна. Во всем этом не было бы трагедии, когда бы русские искренне считали подобное положение дел правильным. Раб, которого не оскорбляют побои, вполне может быть счастлив. Но одно дело – вынужденно подчиняться «силе сложившихся вещей», другое – верить в ее справедливость. Большинство никогда не прет против рожна, но это не значит, что оно этот «рожон» любит всеми фибрами души. Русские – народ христианско-европейской цивилизации, где личность – центр бытия, более того, это народ, создавший одну из величайших христианско-европейских культур, в которой от Владимира Мономаха до Александра Солженицына проникновенно и мощно воспето достоинство человеческой личности как абсолютная ценность. Да и Толстой – ни в творчестве, ни тем более в частной жизни – вовсе не сводится к апологии «приниженности».

Не сознательно, так подсознательно русские ощущают нормой уважительное отношение к себе как к творению Божию с бессмертной душой, а не садомазохистские игры в господ и холопов. И доказательств этому немало в русской истории. Рыбников, как знаток русского фольклора, отмечал, что чувство свободы и независимости личности пронизывает былинный эпос, что вовсе не «смирными» и не «приниженными» были герои последнего, а стало быть, и народ, таких героев почитавший, не может быть сведен к безличной массе. Он напоминал, что в рамки философии Толстого совершенно не укладываются такие «хищные» (как опять-та-

ки выразился бы Аполлон Григорьев) современники событий, описанных в «Войне и мире», как А. П. Ермолов или М. С. Лунин.

Урожай на сильных, талантливых, инициативных людей среди русских был всегда поразительно высок, и именно они были дрожжами нашего прогресса. Государство этими людьми активно пользовалось, но, когда они начинали заявлять претензии на независимость (без которой сила, талант, инициатива развиваться не могут), их либо истребляли, либо выталкивали на периферию, либо заставляли встраиваться в систему, где они через какое-то время чахли или прости-туировались. В том числе и отсюда прерывистость русского исторического развития, обязательность срыва реформ с последующим переходом в реакцию.

Личная независимость в наших палестинах – цветок как будто редкий и экзотический. Но как характерно, что чуть политический климат начинает теплеть, это растение тут же получает тенденцию к распространению. Стоило самодержавию дать дворянству Манифест о вольности, как уже через двадцать – тридцать лет народилось поколение Пушкина и декабристов, для которого понятие о личной независимости было основой идентичности. Стоило в 1905 г. явиться Манифесту о политических и гражданских свободах – и тут же бурно закипела общественная и хозяйственная жизнь, за считанные годы возникла новая, европеизированная Россия, уничтоженная затем пришествием коммунистического

Египта.

Беда в том, что нам до сих пор никак не удается закрепить наши хаотические освободительные стремления на уровне работающих и воспроизводящихся социальных и политических институтов, создать новую *«силу сложившихся вещей»*, которая поощряла бы дух свободы и независимости, а не давила его. И другая напасть: отечественные борцы за свободу нередко больны *«бесплодным отрицанием нигилизма»*, а порой вольно или невольно копируют обыкновения своего надзаконного супостата: «Свободных мыслей коноводы / Восточным деспотам сродни» (П. А. Вяземский).

Есть исследователи, которые пишут в связи с вышесказанным о каком-то особом «властечентризме» русской культуры или даже видят здесь выражение неких прирожденных свойств русского национального характера. Но данное явление все же не уникально. Джон Стюарт Милль писал в позапрошлом столетии: «Есть нации, у которых страсть повелевать другими настолько преобладает над стремлением сохранить личную независимость, что они даже ради призрачной власти готовы всецело пожертвовать своей свободой. В таком народе каждый человек, подобно простому солдату в армии, охотно отрекается от личной свободы в пользу своего начальника, лишь бы армия торжествовала и ему можно было гордиться тем, что и он – один из победителей, хотя бы его участие во власти, проявляемое над побежденными, было совершенно призрачно. Правительство, строго ограни-

ченное в своих полномочиях... не по вкусу такому народу. В его глазах представители власти могут делать все что угодно, лишь бы самая власть была открыта для соискательства. Средний человек из этого народа предпочитает надежду (хотя бы отдаленную и невероятную), что он достигнет некоторой власти над своими согражданами, уверенности, что эта власть не будет без нужды вмешиваться в его дела и дела его ближних».

Вы думали, это о русских? Между тем речь идет о французах эпохи «суверенной демократии» Наполеона III. Сходные социально-политические системы порождают и сходные общественные практики. Но это не значит, что и системы, и практики эти – навсегда. Другое дело, что русский случай особенно тяжел – даже при Наполеоне Малом действовал кодекс его великого дяди, обеспечивающий право частной собственности, и, что еще важнее, среди многих победивших французских революций не было революции коммунистической.

* * *

При том подходе к русской истории, который предлагает автор, понятно, что настрой его сочинения *критический* по преимуществу, но все же к критике несводимый. Его «История» – не только *история русских бедствий*, но и *история борьбы русского народа за свое национальное государ-*

ство, история многочисленных попыток изменить главенствующее направление русской жизни, достаточно вспомнить хотя бы реформы А. Ф. Адашева и П. А. Столыпина. И в этом смысле речь в книге идет не только о минувшем, но и о *желательном будущем*.

В работе над книгой меня стимулировали глубокие размышления Фридриха Ницше о том, что, «наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого», «необходим подчас человеку... также третий способ – критический... Человек должен обладать и от времени до времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор... Это как бы попытка создать себе а *posteriori* такое прошлое, от которого мы желали бы происходить, в противоположность тому прошлому, от которого мы действительно исходим, – попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки удастся, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для целей жизни, остается

даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой».

Важным подспорьем для методологии автора стал также «рационалистический историзм» Пьера Бурдье, писавшего: «То, что выглядит сегодня очевидным, минуя сознание и выбор, очень часто прежде являлось ставкой в борьбе и утвердилось только в итоге противостояния доминирующих доминируемым. Главным результатом исторического развития является упразднение истории путем возврата к прошлому, то есть к бессознательному, к скрытым возможностям, которые оказались нереализованными... Докса есть частная точка зрения, точка зрения доминирующих, которая представляет и заставляет признать себя в качестве всеобщей точки зрения; точка зрения тех, кто господствует, подчиняя себе государство, кто сделал из своей точки зрения всеобщую, создавая государство».

То есть, проще говоря, все «абсолютное», «онтологическое», «само собой разумеющееся», «докса», как выражается Бурдье, в социальной реальности есть создание рук человеческих, имеющее свою историческую генеалогию, свое начало, заложенное очень часто в произволе победителей. Следовательно, оно может иметь и свой конец, когда победителями станут совсем другие силы и создадут свое «абсолютное», «онтологическое», свою «доксу». Это вселяет надежду на то, что русские могут изменить траекторию своей исто-

рии, которая в течение веков делала из них «объект», «средство», «скрепляющий раствор», и стать «субъектом», «целью в самих себе», «зданием».

Недостижимым образцом «критической истории» для меня является великий труд Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция», содержащий столь много поразительных параллелей с прошлым и настоящим нашего Отечества. Поэтому вовсе не случайно цитата из французского автора служит одним из эпиграфов к «Истории русской нации».

Если же говорить об отечественных истоках позиции автора, то она наследует исторической концепции декабристов (о которой подробно говорится в пятой главе) и некоторым идеям П. Б. Струве, который будет в дальнейшем неоднократно процитирован.

Заранее отвечая на упреки в необъективности, замечу, что объективность в смысле отсутствия у историка ценностных предпочтений возможна разве только при составлении хронологической таблицы (да и там есть простор для злостного субъективизма). Авторы, воспевающие мощь российской государственности и видящие в служении ей смысл существования русского народа, не менее пристрастны. Историческая наука изначально была идеологизированной и ангажированной, не случайно профессор-историограф – неизменный (и немаловажный) актер политического поля эпохи модерна. На мой взгляд, историк имеет право не прятать стыдливо свои мировоззренческие предпочтения (которые

все равно проявятся так или иначе – «шила в мешке не утаишь») под маской псевдоакадемизма, а прямо их заявлять. С одной только принципиальной оговоркой: он должен сохранять *sine qua non* своей профессиональной этики – *уважение к факту*. Мы можем сколь угодно вольно комбинировать известные нам данные источников, но мы не должны эти данные выдумывать или замалчивать. Надеюсь, мои мировоззренческие предпочтения не сказались на *качестве* предлагаемого исторического анализа, во всяком случае, из-за них я нигде *сознательно* не искажал фактической стороны дела (хотя наверняка и допустил какие-то ошибки).

* * *

И еще на один возможный упрек хочу ответить заранее, ибо он уже звучал по отношению к моим работам, на основе которых создана эта книга. Точнее сказать, это не упрек, а *обвинение* – в «*очернении*» русской истории или даже в «*русофобии*». Помню, как весной 2009 г. покойный Л. И. Бородин с мрачной удовлетворенностью тем, что наконец-то удалось раскусить «засланного казачка» и теперь уже совершенно ясны причины «странностей» вроде бы неглупого человека, говорил мне тет-а-тет после прочтения моей статьи «Нация в русской истории»: «*Вы не любите русскую историю*». Я, несколько ошарашенный таким выводом, растерянно возразил, что вообще-то именно русской историей и занима-

юсь профессионально вот уже лет двадцать. Леонид Иванович саркастически-мудро усмехнулся и с полной уверенностью в своем торжестве моментально меня «срезал»: «Ну и что, Пайпс, между прочим, русской историей всю жизнь занимается...» После стигматизирующего мою персону в глазах каждого честного русского патриота сближения с главным «русофобом» американской историографии я понял, что дальнейший спор совершенно бессмыслен. С той поры нечто подобное, и в гораздо более резкой форме, мне приходится выслушивать и читать в свой адрес регулярно.

Но что значит *любить свою историю*? «Благодарно принимать» все, что в ней было? Вроде бы к этому призывал Пушкин в неотправленном письме к Чаадаеву: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы... иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»? Но я, рискуя не согласиться с «нашим всем», не вижу никакого патриотизма или тем паче «русофильства» в том, чтобы «любить» такие наполненные невыносимым русским страданием периоды нашего прошлого, как монгольское иго, опричнина, раскол, петровская революция или людоедство на государственном уровне 1917–1953 гг. Более того, по-моему, «любить» *такое* и есть самая настоящая «русофобия». И мне ближе взгляд, высказанный пушкинским современником и другом – мудрым П. А. Вяземским: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое... Я полагаю, что любовь к отечеству должна

быть слепа в жертвоприношениях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна. Равнодушный всем доволен, но что от него пользы?»

У наших совершенно обезумевших в последнее время борцов с русофобией серьезная проблема со зрением: они не различают в России народ и государство, а между тем последнее в ходе русской истории являлось в иные эпохи гораздо более злостным мучителем первого, чем любой иноземный захватчик. Еще в позапрошлом веке это прекрасно понимали многие патриоты «вне всяких подозрений». Так, славянофил Ф. В. Чижев позволил себе очень сильные выражения на сей счет в одном из частных писем 1873 г.: «Господи! Господи! Как дорого достались нашему народу государственные порядки. Едва ли какое бы то ни было пленение вавилонское соединяло с собой столько бед, неурядицы, притеснений, поборов. Это просто-запросто были не люди с каким-нибудь понятием о человеческом достоинстве, с какой-нибудь тенью понятий о праве, это просто двуногие животные, которых резали для стола, но резали, душили, казнили, пытали для одного кушанья – правительственного произвола». Знал бы Федор Васильевич, что уготовано России

в XX столетии...

Историй, написанных *с точки зрения властителей*, у нас довольно, здесь предлагается история *с точки зрения народа*, создавшего великую страну, но так и не ставшего ее *хозяином*. Представить критику власти критикой народа – излюбленный прием государственного агитпропа. По словам Б. Мура: «В любом обществе именно господствующим группам приходится больше всего утаивать правду о том, как функционирует общество. Поэтому подлинный анализ часто обречен на то, чтобы иметь критическое звучание, выглядеть скорее как разоблачение, чем как объективное высказывание... Для всех исследователей человеческого общества сочувствие к жертвам исторического процесса и скептицизм в отношении заявлений победителей обеспечивают достаточную защиту против того, чтобы попасть под влияние господствующей идеологии».

Завершить столь затянувшееся предисловие я бы хотел кратким комментарием по поводу второго эпиграфа к книге – из Шукшина. Автор «Калины красной» конечно же не меньше, чем кто-либо, гордился великими достижениями русской классической культуры. Но, очевидно, видел он и то, насколько русское социально-политическое бытие чудовищно далеко от заветов последней.

Глава 1. Русская федерация

Историография Древней Руси имеет парадоксальное сходство с актуальной российской политологией: и там, и там минимум достоверной информации и максимум головокружительно смелых концепций. Еще в позапрошлом веке выдающийся знаток русских юридических древностей В. И. Сергеевич с грустью констатировал: «Источники нашей древнейшей истории очень не полны, а выражения летописца не достаточно определены. О древнейших событиях возможны поэтому иногда только догадки». Подсчитано, что за период XII–XV вв. до нас дошло всего 2234 делопроизводственных документа, из которых львиная доля (2048) приходится на последнее столетие. Для сравнения: опубликованная небольшая часть архива итальянского города Лукка за 1260–1356 гг. составила около 30 тыс. документов; только от одного французского короля Филиппа IV Красивого (1285–1314) осталось около 50 тыс. актов. То есть «за 30 лет французской средневековой истории их сохранилось в 23 раза больше (!), чем за 400 лет русской. Есть от чего отечественному историку впасть в депрессию...» – сокрушается современный исследователь А. И. Филюшкин. Попробуем вкратце сформулировать, что дает по нашей теме древнерусская история «в сухом остатке» на основании этих скудных данных, стараясь не увлекаться ни своими, ни чужими догадками.

Русь и русская земля

В VI–VIII вв. восточная ветвь славянства заселяет Восточно-Европейскую равнину от Финского залива на севере; низовьев Днепра, Южного Буга, Днестра на юге; среднего течения Немана, Западной Двины и Западного Буга на западе; верховьев Волги, Дона и Оки на востоке, то есть, грубо говоря, от Прибалтики до Причерноморья, от Немана до Волги. Племенами называть эти славянские объединения неверно, ибо кровнородственную стадию они уже миновали, и их единство определялось территориально-политическими факторами. Вслед за Г. Г. Литавриным и А. А. Горским будем именовать их «славиниями». Наиболее значительными «славиниями» были поляне с центром в Киеве и словене с центром в Новгороде. В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и перенес туда свою столицу. Так образовалось государство, получившее затем в исторической науке условное название Киевская Русь (далее – КР). С Киевом понятно, но почему *Русь*?

Споры об этнической принадлежности народа *русь*, составившего правящую элиту государства восточных славян и давшего последнему имя, ведутся уже несколько столетий и явно не собираются заканчиваться. Не станем в них углубляться, отметим только, что само слово это, видимо, неславянское, а то ли скандинавское, то ли иранское. В зависимо-

сти от того, какой точки зрения в данном вопросе придер- живаться, русь получит происхождение либо северное (швед- ды/датчане или ослабяившиеся кельты/литовцы), либо юж- ное (аланы). В летописях русью величают как полян, так и призванных из-за моря «володеть и княжить» Новгородом Рюрика с его дружиной, которая позднее, уже возглавляемая Олегом, оккупирует Киев. Существуют версии даже о двух «русях» – северной и южной, с разным этническим проис- хождением, но с удивительно сходным самоназванием, кото- рые затем силой исторических обстоятельств соединились в Киеве. А может, варяги просто присвоили себе имя свергну- той ими местной династии?

Так или иначе, но, скорее всего, властвующая элита КР была изначально неславянской. Иностранность знати – не ред- кость для ранних стадий европейского этногенеза: во Фран- ции – франки, в Англии – норманны, в Болгарии – тюр- ки-булгары... Но кем бы ни были новгородские варяги (скан- динавская версия все-таки более доказательна), они доста- точно быстро ослабяивались – уже в третьем поколении ки- евские князья начинают носить славянские имена (Свято- слав) – и передали свой (или приватизированный ими) этно- ним новой этнополитической общности, сформировавшейся на основе «славиний», вошедших в их государство, – «древ- нерусской народности», по терминологии советских истори- ков.

Впрочем, вопрос, насколько единой была эта «народ-

ность», весьма сложен. Мы не знаем, *как* и в какой степени осознавалось общерусское единство народным большинством. Мы можем судить об этом в основном по воззрениям «интеллектуальной прослойки» – авторов летописей и других литературных произведений, которые, надо полагать, косвенным образом отражали и позицию властей предержащих. И здесь первостепенную важность имеет вопрос об употреблении в письменных источниках понятий «Русь» и «Русская земля» в «широком» (все земли КР) и «узком» (собственно Киевщина, или – немного шире – «треугольник» среднего Поднепровья: Киев – Чернигов – Переяславль) смысле. Первый вариант характерен для периода XI – первой трети XII в., то есть времени наибольшего доминирования Киева и, что неудивительно, представляет собой почти исключительную прерогативу столичных литераторов. И. В. Ведюшкина подсчитала, что из 270 упоминаний «Руси» и «Русской земли» в киевской Повести временных лет (начало XII в.) 260 имеют «расширительное» значение.

Очевидно, что в КР, как везде и всегда, (прото)националистический дискурс создавался и развивался интеллектуалами. И мы можем даже вполне определенно их указать. Это группа русского духовенства, связанная с Киевским Печерским монастырем, – «местные» клирики, резко оппозиционно настроенные в отношении церковной иерархии, экспортируемой Византией. Борьба за свой статус с начальниками-чужаками, разумеется, особых патриотических восторгов

по поводу порученной их духовному окормлению варварской страны и ее населения не испытывавшими, была благодатной почвой для произрастания (прото)националистических настроений. Эта борьба нередко совпадала с антивизантийскими тенденциями некоторых киевских князей, также не жаловавших «иностранных агентов» во главе духовной власти. Именно из среды печерского монашества идут инициативы канонизации «своих», русских святых, постоянно блокируемые греческим руководством Киевской митрополии. Именно здесь ведутся горделивые разговоры об особой близости Русской церкви к Богу. И главное – именно в стенах Печерской обители создаются тексты, в которых прославляется «Русская земля» и акцентируется ее государственное и народное единство – прежде всего, конечно, упомянутая выше Повесть временных лет, а также «Память и похвала» Иакова Мниха и памятники борисоглебского цикла.

Подобные же идеи мы видим ранее и еще более ярко выраженными в «Слове о Законе и Благодати» (1037–1050) первого «русина» на киевском митрополичьем престоле Илариона. В этом сочинении уже присутствует и вполне зрелая «национальная» мифология, в том числе и столь знакомая специалистам по русской и германской философско-политической мысли XIX в. мифологема «молодого народа» в духе «и последние станут первыми», явно направленная против «ветхой» Византии. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Ибо не вливают, по словам Господ-

ним, вина нового, учения благодатного “в мехи ветхие”... Так и свершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского... Итак, будучи чуждыми, наречены мы народом Божиим, будучи врагами, названы сынами Его» (перевод диакона Андрея Юрченко). Тут же воздается хвала киевским князьям Игорю, Святославу и Владимиру (напомним, первые двое – язычники!), которые правили «не в безвестной и захудалой земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырех концах земли». Если принять красивую версию М. Д. Приселкова о том, что Иларион, после его низложения под нажимом Константинополя, стал монахом с именем Никон, а потом и первым игуменом Печерской обители, история формирования древнерусского (прото)национализма приобретает логическую (и эстетическую) завершенность.

В период удельной раздробленности (30-е гг. XII – 30-е гг. XIII в.), напротив, возобладало «узкое» понимание «Руси». Киевские летописи все еще старались держать столичную марку, но и в них насчитывается до трети случаев, когда рассказывая о переездах того или иного князя из Киевщины в какую-либо другую землю (или наоборот), первая противопоставляется последней как Русь – не-Руси. А уж в провинциальных летописных сводах, буквально за единичными исключениями, «Русская земля» – это Среднее Поднепровье, а никак не Суздаль или Новгород, Галич или Смоленск, Полоцк или Рязань. Тем не менее и в это время существова-

ло несколько объективных факторов, не дававших общерусскому единству распасться.

КР сохраняла определенное *политическое единство*, представляя собой «нечто вроде федерации» (Г. В. Вернадский), скрепляемой правлением во всех ее землях представителей рода Рюриковичей, многие из которых не сидели на одном месте, а перемещались вместе с дружинами «от стола к столу» (П. П. Толочко). Русь была, по сути, коллективным родовым владением Рюриковичей, которые не забывали о своем родстве («я не Угрин, ни Лях, но одного деда есмы внуци», – сказал в 1174 г. черниговский князь Святослав Всеволодович великому киевскому князю Ярославу Изяславичу), и не только воевали между собой, но и организовывали совместные походы против внешних врагов. Киев в их сознании продолжал иметь статус «старейшего» города.

Все земли КР оставались канонической территорией киевской митрополии, которая осуществляла их *религиозное единство*, духовно скрепляемое одиннадцатью общерусскими святыми, канонизированными в домонгольский период.

На всей территории КР действовали общие законы, прописанные в юридическом кодексе Русская Правда, то есть можно говорить и о ее *правовом единстве*.

Между разными землями КР не просто сохранялись, но и расширялись и укреплялись разнообразные хозяйственные связи, создававшие ее *экономическое единство*. Вплоть до монгольского нашествия выполняли свое назначение все ос-

новные пути, по которым происходила международная торговля Руси. Через Киев во все русские земли шли импортные товары из Византии и с Востока. Новгород критически зависел от подвоза хлеба с русского юга.

Многообразно проявлялось *культурное единство*. Общий литературный язык, при наличии нескольких диалектов. Единообразие каменного зодчества, бытового строительства (срубные бревенчатые дома), керамики... Во всех городах КР женщины носили сходные трехбусинные височные кольца, бронзовые и стеклянные браслеты. Да, во многих случаях региональные особенности очевидны, но не менее очевидно и подражание киевским образцам.

Жители разных земель ощущали «Русскую федерацию» как единое пространство – не только политическое, но и бытовое. Об этом говорят многочисленные переселения из земли в землю простых людей – ремесленников, крестьян, церковников. Причем не только массовые, вслед за князем и дружиной (самое значительное, вероятно, произошло в конце XI – начале XII в. из Южной Руси в Волго-Окское междуречье, что запечатлелось в появлении на Северо-Востоке городов, повторяющих юго-западные названия – Переяславль, Галич), но и индивидуальные. В одной из новгородских берестяных грамот, датированной рубежом XI–XII вв., ее автор дает совет родственникам продать усадьбу в Новгороде и переселиться в Смоленск или Киев, ибо там хлеб дешевле. Уроженцы одной русской земли, оказавшиеся на территории

другой, юридически определялись как «иногородние» или «иноземцы», но четко отделялись от нерусских иностранцев — «чужеземцев».

Указанное настолько очевидно свидетельствует об изначальном русском единстве КР, что останавливаться на полемике с теми политически ангажированными авторами, которые уже тогда обнаруживают на ее территории Украину и Беларусь, не вижу смысла.

Три «ветви власти»

Конечно, все вышеперечисленные факторы показательны главным образом для городской части КР. Насколько они «работали» в сельской местности, трудно сказать. Именно города, притом что они часто соперничали друг с другом, были средоточием «объективных» общерусских тенденций, общерусской материальной и духовной культуры.

Да, городское население КР составляло меньшинство по отношению к сельскому. Но, во-первых, меньшинство довольно внушительное. По изысканиям М. Н. Тихомирова, накануне монгольского нашествия городов на Руси насчитывалось около трехсот, некоторые из них – такие как Киев, Новгород, Смоленск – были по меркам своего времени весьма обширными, густонаселенными и благоустроенными. Население Киева времен его расцвета достигало 50–80 тыс. человек (для сравнения, один из крупнейших европейских городов Париж в начале XIII в. вмещал около 100 тыс. жителей), в Новгороде в начале XIII в. проживало 20–30 тыс., в Смоленске – несколько десятков тысяч. Ярославль, Ростов, Владимир-Клязьминский имели по 10–20 тыс. Г. В. Вернадский предположил, что в конце XII – начале XIII в. городское население Руси составляло не менее миллиона человек – 13 % от общего количества жителей (7,5 млн), что соответствует ситуации Российской империи конца XIX в. Во-вто-

рых, в городах жила политическая, хозяйственная и культурная элита страны, многие из них были важными торговыми центрами. А в-третьих, крупные города являлись не только княжескими столицами, но и сосредоточием местного самоуправления.

О том, насколько велика была политическая роль *веча* – неперiodического собрания полноправных граждан – «граждан», «людей градских», «то есть мужей свободных, совершеннолетних и не подчиненных семейной власти» (М. Ф. Владимирский-Буданов) – историки спорили и будут еще спорить. Но несомненно, во всяком случае, следующее. Вечевые порядки – вовсе не привилегия лишь северных республик – Новгорода и Пскова, они распространялись практически на все русские земли, получая «лишь различную степень и форму выражения в зависимости от местных индивидуальных условий» (А. Н. Насонов), о чем недвусмысленно свидетельствует летописец в конце XII в.: «Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якож на думу, на вече сходятся». Сообщают летописи и о вечевых собраниях в Ростове, Суздале, Владимире-Клязьминском, Владимире-Волынском, Галиче, Рязани, Чернигове, Курске, Переяславле-Южном, Переяславле-Залесском, Дмитрове, Москве... Всего до нас дошло более 50 свидетельств о вечевой жизни различных древнерусских городов (сельские жители, видимо, в ней не участвовали). Первое из них, связанное с Белгородом, относится к

997 г., но очевидно, что корни вече идут еще от народных собраний времен «военной демократии».

Вече изгоняло и призывало князей, начинало войну и заключало мир, не говоря уже о решении сугубо местных вопросов – судебных, финансовых, церковных, избрании городских чиновников... В Новгороде за период с 1095 по 1304 г. князья сменились 58 раз, чаще всего при непосредственном участии горожан. В Киеве в XI–XII вв. городская община периодически изгоняла и приглашала князей, которые при вокняжении заключали с горожанами договор («ряд»). Даже в Суздальской земле, где княжеская власть была сильнее, чем где бы то ни было на Руси, городские вече играли решающую роль в междукняжеской борьбе 1170-х гг.

Разумеется, вече было не единственным институтом государственного управления КР – не менее важны были власть князя и боярская дума. Поэтому многие историки справедливо говорят о «тройственности» верховной власти на Руси, где, в зависимости от региона, в разных сочетаниях находились три основных политических элемента – монархический, демократический и аристократический. Но нигде в КР не существовало неограниченной монархии, более того, как показал А. П. Толочко, даже сама идея таковой в общественном сознании отсутствовала. В летописях князей хвалят за то, что они принимают важные решения, посоветовавшись с дружиной и боярами, и, напротив, причину их неудач видят в пренебрежении этим советом. Следует также отметить, что

и церковь, благодаря иноземному происхождению подавляющего большинства митрополитов, была относительно автономна от княжеской власти. Все это важно подчеркнуть, ибо отсюда следует, что русская история начинается вовсе не с господства автократии, а с элементарных форм демократии, которые могли бы со временем стать основой для самобытно-русских институтов демократии современной. Городские общины КР, члены которых реально участвовали в принятии политических решений, представляли собой своеобразные «протонации», аналогичные, по мнению современных исследователей школы И. Я. Фроянова, древнегреческим полисам.

Был ли на Руси русский народ?

Тем не менее о *единой* русской «протонации» в КР мы говорить не можем. И в смысле институциональном – никакого центрального вечевого органа, общего для всех русских земель, не существовало, таковой был возможен только при наличии представительства, а оно на Руси в ту пору было неизвестно. И в смысле этнополитическом – региональные идентичности явно преобладали над общерусской. Правда, Б. Н. Флоря подчеркивает как первостепенный тот факт, что в русских летописях уже с середины XII в. исчезают старые имена «славиний» (поляне, словене, кривичи и т. д.). Они вытесняются обозначением населения земель (как правило, не совпадающим с ареалами расселения «славиний») по их главным городам (киевляне, новгородцы, полочане и т. д.), что косвенным образом может свидетельствовать о распространении сознания принадлежности к одной народности – *русь*. Победа «областного» над «племенным» стала следствием целенаправленной политики киевских князей в конце X – начале XII в., кроивших старую этническую карту Руси по своему произволу, так, «Черниговская земля включила в себя большую (но не всю) часть бывшей территории северян, часть территории радимичей и часть территории вятичей; на бывшей территории кривичей сложились две земли – Смоленская и Полоцкая, при этом первая вклю-

чила в себя также часть радимичской и вятичской территорий, а вторая – часть территории дреговичей» (А. А. Горский). Но эта победа еще не означала автоматического торжества «общенародного». Похоже, напротив, что, при несомненном наличии «областнического» и «общегосударственного» сознания, сознание «общеэтническое» не было широко распространено.

Тот же Б. Н. Флоря и А. И. Рогов отмечают, что в Повести временных лет отсутствует представление о *народе*, населяющем «Русскую землю», в отличие от современных ей западнославянских хроник, в которых *чехи* (богемцы) у Козьмы Пражского и *поляки* у Галла Анонима выступают как первостепенные субъекты истории. Что уж говорить о Западной Европе, где дискурс о народах развивался уже с VI в. (например, в «Истории франков» Григория Турского), а в X в. средневековые хронисты трактовали национальную проблему на вполне современном языке: «Разные нации отличаются друг от друга происхождением, нравами, языком и законом» (Регино Прюмский). При этом другие народы и в ПВЛ, и в других летописях их авторами легко опознаются: греки, угры, ляхи, чехи, моравы, половцы... Этнонимы «русы», «русичи», «русины», «русские люди», «русские сыны» и т. д. в источниках Киевского периода встречаются, но довольно редко, да и сам их разноречивый свидетельствует об отсутствии *единого общепринятого* этнонима. Это, конечно, говорит о неразвитости этнического общерусского самосозна-

ния. «Русь», «Русская земля» – сразу и территория, и государство, и народ.

Русская идентичность мыслилась древнерусским книжникам как территориальная, государственная и, естественно, конфессиональная (православно-христианская), но не как собственно этническая. Возможно, в этом сказалась обширность и пестрота «областных» ее элементов и неславянское происхождение собственно «русской» социально-политической элиты. Возможно, это связано с тем, что «основным катализатором формирования этноконфессионального самосознания явились недружественные контакты с соседями-иноверцами, прежде всего – кочевниками» (А. В. Лаушкин), что, естественно, усиливало в этом самосознании религиозный компонент. Возможно – с отсутствием прямого влияния на культуру КР античной традиции, в которой представление о *народах*, как субъектах истории, занимало важное место. И уж если так русскую идентичность «воображали» интеллектуалы, то что говорить о народном большинстве – крестьянах, чей кругозор редко превышал пределы родного села. Так или иначе, но эта идущая издревле особенность русского самосознания дает знать о себе практически на всем протяжении нашей истории, вплоть до сегодняшнего дня, существенно затрудняя формирование русской нации.

Но *недостаточность* (не отсутствие!) этнического элемента в русской идентичности вовсе не означает, что КР строилась как якобы «многонациональное», «полиэтниче-

ское» государство. Неславянские, финно- и балтоязычные народы, чьи земли непосредственно вошли в государственную территорию державы Рюриковичей (меря, весь, мурома, водь, ижора, голядь и т. д.), были славянизированы, христианизированы и растворились в «древнерусской народности», оставив по себе лишь некий след в русской генетике и антропологии да топонимическую память. Чего-то специально финского в русскую культуру они не добавили. Можно вспомнить еще тюркских вассалов Рюриковичей – «своих поганых», черных клобуков, которые тоже постепенно ассимилировались. А финноязычные и балтоязычные народы, жившие по окраинам (чудь, корела, пермь, югра, мордва, черемисы и др.) «остались вне государственной территории Руси; они составляли своего рода „пояс“ народов-данников, окружавший территорию Древнерусского государства на северо-западе, севере и северо-востоке» (А. А. Горский).

Несмотря на недооформленность русского этнического самосознания, оппозиция «свой – чужой» в нем была вполне развита, проявляя себя, как правило, в религиозном обличе. В ПВЛ балто-финские племена четко отделяются от Руси, и не только как данники, но и как неславяне (хотя и, подобно славянам, потомки Иафета), говорящие на своих языках. Как несомненно «чужие» воспринимались мусульмане и иудеи – народы «жребия Симова». Церковный устав Ярослава Мудрого предусматривал жесткие наказания за сексуальные контакты с их представителями: женщине грози-

ло вечное заточение в монастыре, мужчине – отлучение от церкви. В 1113 г. киевские ростовщики-иудеи подверглись погрому, а потом были изгнаны из города.

Русь и Запад

Гораздо сложнее было отношение к европейским «еретикам-латинянам». Да, в русской духовной литературе той эпохи есть несколько резко полемических текстов против католиков (в основном написанных греческими иерархами, за исключением святого Феодосия Печерского), но светские власти на них, похоже, не очень-то обращали внимание. Судя по работам А. В. Назаренко и Б. Н. Флори, говорить о «конфликте цивилизаций» между Русью и Западом применительно к домонгольскому периоду не приходится. После церковного раскола 1054 г. между русскими землями и латинским миром (прежде всего западнославянскими и восточногерманскими землями) продолжали существовать не только тесные экономические (сухопутный путь «из немцев в хазары» был не менее значим, чем водный путь «из варяг в греки»; до XIII в. предметы восточной и византийской роскоши шли на Запад через Киев), но и политические, культурные и даже религиозные связи.

Всем известны впечатляющие результаты европейской брачной политики Ярослава Мудрого еще до раскола с католиками: сам был женат на шведской принцессе, дочери вышла замуж за французского, венгерского и норвежского королей, сестра – за польского короля и т. д. Но браки между княжескими родами и аристократией католической Европы

продолжали заключаться и позднее, и разделение церквей им не слишком мешало. Сохранились латинский молитвенник и латинские святцы супруги киевского князя Изяслава Ярославича польки Гертруды, которыми она пользовалась до конца жизни (ум. после 1085 г.), стало быть, к переходу в православие ее не принуждали. В летописании, связанном с княжескими дворами, практически нет антикатолических выпадов. Впрочем, и в западнославянских (и даже восточно-германских) письменных источниках русских «схизматиками» еще не величали.

Продолжало сохраняться чувство общехристианской солидарности в отношении языческого и мусульманского мира. Русские совместно с поляками участвовали в крестовом походе 1147 г. против язычников-прусов. Очень любопытна запись в Ипатьевской летописи под 1190 г. о немецких рыцарях – участниках Третьего крестового похода. По словам летописца, императора Фридриха Барбароссу призвал идти в поход посланный ему Богом ангел, немецкие рыцари погибли в боях с сарацинами, «яко мученици святии прольяше кровь свою за Христа», и летописец верит, что их тела «из гроб их невидимо ангелом Господним взята бывахоуть».

Даже в собственно церковной жизни все далеко не сводилось к противостоянию. Скажем, в 1095 г. в основание одного из престолов, поставленного в храме бенедиктинского монастыря на р. Сазаве (Чехия), были положены частицы мощей святых Бориса и Глеба. Эти реликвии могли попасть в

Сазаву лишь из храма в Вышгороде под Киевом, где хранились мощи князей-страстотерпцев. Или: в конце XI в. на Руси был учрежден церковный праздник в честь перенесения мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари (Южная Италия), то есть, строго говоря, в честь похищения латинянами мощей православного святого! Ни греческая, ни другие православные церкви этот праздник не приняли. А на Руси он привился, была составлена посвященная ему особая служба, в одной из стихир которой указывалось, что святой Николай «иным овцам посылается латинскому языку».

Еще более тесные связи отмечены Б. Н. Флорей в области сакрального искусства. Романское происхождение имеют техника строительства из крупных тесаных каменных блоков, тип круглой церкви – ротонды, к которому относятся ряд памятников в западных русских княжествах – на Волыни, в Галицкой и Смоленской землях, а также скульптурный декор некоторых храмов Владимиро-Суздальской земли. Причем наиболее активные контакты в этой сфере датируются концом XII – началом XIII в., то есть на протяжении домонгольского периода они не сокращались, а расширялись.

Даже взятие крестоносцами в 1204 г. Константинополя не привело к разрыву с латинским миром. И только в 1230-х гг., после резкой активизации католической агрессии, направленной на север Руси и сопровождавшейся не менее резко поднявшимся градусом антиправославной риторики, такой

разрыв становится неизбежным. Но важно отметить: не русские стали его инициаторами, они вовсе не стремились к самоизоляции, это была вынужденная самооборона.

Кстати, следует заметить, что, несмотря на нахождение в византийском культурном ареале, КР вовсе не была провинциальной копией империи ромеев, даже и в религиозном отношении. Первые русские святые – Борис и Глеб – не имеют аналогов в греческой агиографии, но зато близкородственны святым князьям и королям западных славян (Вячеслав Чешский) и скандинавов (Канут Датский). Еще больше различий с Византией и сходства с латинской Европой находим в социально-политической сфере. «Коллективный сюзеренитет» Рюриковичей не имеет ничего общего с традициями Константинопольской монархии и напоминает более всего государственную систему Каролингов. А общественный строй Руси, хоть и далекий от «классического» феодализма, весьма похож на соответствующие порядки в Восточной и Северной Европе: господствующий военно-служилый слой (дружина), получающий доходы от лично свободного рядового земледельческого населения не через развитие частного сеньориального землевладения, а через распределение государственных налогов.

Дух свободы

Итак, КР была органичной частью тогдашнего европейско-христианского мира, своеобразие ее состояло в доминирующем византийском религиозно-культурном влиянии и в непосредственном соседстве со Степью, с народами которой – прежде всего с половцами – она не только вела многочисленные войны, но и заключала политические союзы. Ни о какой отсталости от Европы в ту пору не может быть и речи. Новгородские мостовые, появившиеся в X в., на 200 лет старше парижских и на 500 – лондонских, а в XII в. в Новгороде уже были водопровод и канализация, сделанные из дубовых стволов. Древнерусское каменное зодчество, живопись и прикладные искусства стояли на уровне лучших европейских достижений. Древнерусская литература, создавшая такие бесспорные шедевры, как «Слово о законе и благодати» и «Слово о полку Игореве», отличается высочайшим художественным совершенством. «Лишь три области прекрасного, – отмечает А. Н. Севастьянов, – были развиты в Европе больше и лучше»: скульптура, витраж (на Руси не было вовсе) и рукописная книга. При этом книжные богатства КР были, видимо, весьма велики (по предположению Б. В. Сапунова, около 140 тыс. томов нескольких сот названий), но до нас, к сожалению, дошло менее одного процента из них. Важно отметить, что книжность была явлением массовым,

как, естественно, и грамотность, о чем свидетельствуют более 500 берестяных грамот, написанных людьми са мого различного социального происхождения и найденных в Новгороде, Пскове, Полоцке, Смоленске, Москве...

Развитое ремесло и торговля русских городов свидетельствуют об экономической мощи Руси и даже дали В. О. Ключевскому основание для его ныне уже опровергнутой концепции о КР как о прежде всего «торговом предприятии». «Торговая прослойка» в составе населения Новгорода и Смоленска была больше, нежели в западноевропейских городах того времени. Хотя следует отметить, что экспорт русской торговли состоял почти исключительно из сырья (меха, мед, воск), а импорт – из готовой продукции и металлов.

Удельная раздробленность сопровождалась, конечно, серьезными минусами в виде междоусобных княжеских войн и набегов кочевников, но не приводила русские земли ни к экономическому, ни к политическому упадку.

Наконец, вовсе не последнее по важности. *КР – это страна свободных людей.* Да, там существовало рабство, но процент рабов был невелик и в основном состоял из военнопленных. Основной же массой населения оставались свободные крестьяне-общинники, платившие дань князю, – крепостного права тогда не существовало. О демократических институтах в городах и об отсутствии неограниченной монархии мы подробно говорили выше. Былины рисуют русских богатырей вольными, независимыми воинами, вступа-

ющими иногда даже в конфликт с киевскими князьями. Особо отметим, что двое из трех наиболее известных былинных витязей, запечатленных на знаменитом васнецовском полотне, – выходцы отнюдь не из Киева, а с Северо-Востока, то есть из будущей Великороссии: Илья, понятное дело, муромец, Алеша Попович – ростовец.

Недаром этот период русской истории столь любим в русском фольклоре и в поэзии русских романтиков XIX столетия – от Пушкина и Лермонтова до А. А. Григорьева и А. К. Толстого. Недаром декабристы видели в КР и ее осколках (Новгород, Псков) прообраз русского национального демократического государства. Да, они идеализировали то время, но ведь и было что идеализировать.

Завершим этот раздел прекрасной характеристикой КР, принадлежащей Г. В. Вернадскому: «...Киевская Русь была страной свободных политических институтов и вольной игры социальных и экономических сил... В Киевской Руси должно быть нечто, заставляющее людей забыть ее негативную сторону и помнить лишь достижения. Это „нечто“ было духом свободы – индивидуальной, политической и экономической, – который преобладал в России этого периода и по отношению к которому московский принцип полного подчинения индивида государству представлял разительный контраст».

Мы не знаем, *как* происходило бы дальнейшее развитие «Русской федерации», не случись монгольского нашествия,

об этом можно только строить догадки, но автор уже успел пообещать читателю, что догадками увлекаться не будет...

Умственный выверт

Подробно останавливаться на последствиях для Руси монгольского ига не было бы нужды, не приобрети в последние годы при активной официальной поддержке широкую популярность так называемая евразийская концепция русской истории. А как известно, центральный пункт этого не имеющего никакого научного основания набора вздорных лозунгов – выморочная идея о великом благе, которое принесли русским монголы. Дескать, в самом нашествии ничего особенно страшного нет – обычный набег кочевников; зависимость от Орды была необременительна; ни о каком иге говорить не приходится, на самом деле происходил взаимовыгодный *симбиоз*, благодаря которому Русь оторвалась (слава богу!) от уже тогда гниющей Европы и затем превратилась в великую державу – ордынскую наследницу.

Из всего вышеперечисленного действительности соответствует только тезис об отрыве от Европы. Но причины радоваться тому, что в пору, пока западные христиане копили богатства, строили соборы и множили университеты, наши предки напрягали все силы для того, чтобы сначала сносить, а потом сбрасывать монгольское ярмо, – здравому рассудку решительно неясны. Само по себе воспевание какого бы то ни было чужеземного господства, то есть потери национальной свободы, есть психологическое (и логическое) из-

вращение. Но дифирамбы в честь господства иноплеменников, находящихся на более низкой ступени развития и, следовательно, по определению, не способных взамен утраты независимости подарить поработанным более высокий уровень цивилизации, иначе как мазохистским сладострастием не назовешь. Никакой европейский народ не пережил ничего сравнимого с монгольским игом – торжеством *кочевников над земледельцами*. Даже турецкое владычество в Греции и юго-славянских странах в этом смысле смотрится предпочтительнее. Не говоря уже про «арабизацию» Испании, о чем афористически точно написал Пушкин: «Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».

Указанная извращенность вообще характерна для евразийства – этого, говоря словами И. А. Ильина, «умственного выверта», почти сплошь построенного на интеллектуальной нечестности и подтасовках. Некоторые его отцы-основатели это осознавали. Например, Н. С. Трубецкой в частном письме так высказывался о своем главном «историческом» сочинении «Наследие Чингисхана», опубликованном им под криптонимом И. Р.: «...я бы все-таки не хотел бы ставить своего имени под этим произведением, которое явно демагогично и с научной точки зрения легкомысленно». Единственный среди евразийцев серьезный историк Г. В. Вернадский в своих поздних трудах отказался от наиболее нелепых евразийских идеологем. Но главные попу-

ляризаторы евразийства в СССР и в постсоветской России Л. Н. Гумилев и В. В. Кожин сумели перещеголять своих предшественников в вольном обращении с фактами и вполне заслужили звание мастеров исторической фантастики.

Великое жестокое пленение русское

Напомним некоторые вполне достоверные сведения, камня на камне не оставляющие от евразийской схемы.

Жертвами «обычного набега кочевников», по данным А. В. Кузы, стали 49 из 74 археологически изученных русских городов середины XII–XIII вв., из которых четырнадцать вовсе не поднялись из пепла, а еще пятнадцать не смогли восстановить своего бывшего значения, постепенно превратившись в сельские поселения. Кроме того, было уничтожено большинство крепостей и волостных центров, погостов и замков-усадоб, лишь в 304 (25 %) поселениях этого типа жизнь продолжилась позднее.

О количестве людских потерь можно строить разные предположения (от десятипроцентного до десятикратного сокращения населения), но, несомненно, они были огромны. Сотни скелетов – мужских, женских, детских – с признаками насильственной смерти найдены археологами при раскопках в Рязани, Киеве, на Волыни... «Люди избиша отъ старьца и до сущаго младенца» – эту запись о судьбе жителей Москвы можно воспринимать как краткое резюме летописных рассказов о трагедии Рязани, Суздаля, Владимира-Клязьминского, Козельска, Киева... Даниил Галицкий, возвращаясь в 1241 г. на родину из Польши после ухода татар, «не возмоста ити в поле смрада ради и можьства избиенных, не бе бо

на Володимире [Волынском] не остал живой; церкви святой Богородици исполнена трупья и телес мертвых». Итальянский монах Плано Карпини, проезжая через Киев в 1246 г., то есть через шесть лет после его разгрома, видел в поле «бесчисленные головы и кости мертвых людей».

Источники говорят о повальном бегстве населения с Северо-Востока Руси в 1239–1240 гг. от страха перед новыми визитами евразийских братьев, иные беженцы добирались даже до Саксонии и Дании. После 1240 г. эпидемия бегства охватила и Юго-Запад.

Монголы не только обильно убивали русских, но и массово уводили их «в полон», и это в первую очередь касалось, разумеется, наиболее работоспособной и квалифицированной части населения. Раскопки золотоордынских городов (Бельджамен, Водянское городище и др.) обнаружили там следы «русских кварталов», где в землянках ютились русские рабы, эти города строившие.

Всего во второй половине XIII – начале XVI в., по подсчетам Ю. В. Селезнева, русские земли подверглись ордынским вторжениям более 100 раз. Иные из них по разрушительности мало уступали походам Батые, так, предпринятая в 1293 г. «Дюденева рать» разорила 14 городов.

Не менее печальны последствия «симбиоза» с Ордой и для русской экономики и культуры. В первые его 50 лет на Руси не было построено ни одного города. Почти на три десятилетия остановилось каменное строительство, достигшее

домонгольского уровня лишь век спустя после Батыева нашествия, а искусство резьбы по камню испытало заметный регресс. Многие ремесла пережили тяжелейший упадок, ибо лучшие мастера оказались в ордынском рабстве: искусство перегородчатой эмали, техника скани и чернения, производство глазированной и полихромной керамики, стеклянных браслетов и бус и т. д. Резко сократилась торговля – как внешняя (на долгое время монополизированная мусульманскими купцами), так и внутренняя. В северо-восточных землях чеканка монеты возобновилась только в 80-х гг. XIV в. Почти во всех городах Северо-Восточной и Южной Руси на несколько десятилетий прервалось летописание. Погибло более 99 процентов книжных богатств.

О размерах монгольской дани мы не имеем сегодня более-менее точных данных. Ясно только, что она: 1) была многообразна (до 14 видов); 2) начиная с Ивана Калиты временами уменьшалась; 3) но изначально, после переписи населения в 1257 г., была крайне обременительной (источники того времени говорят о «дани тяжелой») и имела тенденцию возвращаться к этому уровню, – скажем, после «Тохатамышева нахождения» 1382 г. летописи снова сообщают о «дани тяжелой».

Монгольское иго воспринималось русскими людьми именно как тяжелый и оскорбительный чужеземный гнет, а не как взаимовыгодный «союз». О чем свидетельствуют не только попытки отдельных князей этот гнет сбросить (на-

пример, совместное выступление Даниила Галицкого и Андрея Суздальского в 1252 г.) и многочисленные антимонгольские городские восстания (наиболее известны – в 1262 г. сразу в ряде городов Суздальской земли и в 1327 г. в Твери), но и недвусмысленные его оценки в сочинениях русских книжников рубежа XIII–XIV вв.: «ежедневное томление от безбожных и нечестивых язычников», «горькое рабство у иноплеменников», «пленение Русской земли», «языческое насилие», «великое жестокое пленение русское» и т. д. В летописях того же времени монголы фигурируют с такими эпитетами, как «безбожные», «поганные», «злые», «окаянные»... Не очень похоже на радостное приятие благотельного «симбиоза», не правда ли?

А вот характерные фрагменты из проповедей епископа Владимирского Серапиона (до 1275 г.), рисующие трагические картины русской катастрофы: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взяти ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощени быхом оставшей горкою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лет приближает томление и мука, и дане тяжкыя на ны не престанут, глади, морове живот наших, и в сласть хлеба своего изъести не можем, и воздыхание наше и печаль сушат кости наша... Наведе на ны язык немилостив, язык лют, язык, не щадящ красы уны, немощи старец, младости детей... Разрушены Божественныя церкви, осквернены бы-

ша ссуди священнии и честные кресты и святыя книги, потоптана быша святая места, святи тели мечю во ядь быша, плоти преподобных мних птицам на снесь повержени быша, кровь и отец, и братья нашея, аки вода многа, землю напои, князии наших воевод крепость ищезе, храбрии наша, страха наполнешеся, бежаша, множайша же братья и чада наша в плен ведени быша, гради мнози опустели суть, села наша лядиною поростоша, и величество наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше онем в користь бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплемеником в достояние бысть...» Надо что-то очень важное в себе исказить, то есть надо стать евразийцем, чтобы после этого плача русской души недрогнувшей рукой писать что-нибудь вроде «Наследия Чингисхана» или «В союзе с Ордой».

О том, как относились к своему ордынскому «союзнику-сюзерену» даже внешне более чем лояльные по отношению к нему московские князья, выразительно говорят два факта. Первый: московский летописец, описывая разгром вовсе не дружественной Москве Твери в 1328 г., сокрушается о «крови христианской», проливаемой «погаными татарами». Второй: построенный при Иване Калите Архангельский собор был освящен 20 сентября 1333 г., то есть в день памяти святого князя Михаила Черниговского, убитого в Орде в 1246 г. за отказ исполнить языческие обряды, что, безусловно, означало «поминование погибших от рук ордынцев и обещание отомстить за них» (Н. С. Борисов).

Практически одновременно с установлением монгольского ига на севере Руси шла борьба с натиском латинского Запада, направленным на захват русской Прибалтики и грозившим независимости Пскова и Новгорода. В массовом сознании она сводится исключительно к победам святого Александра Невского, что, при всем уважении к последнему, не слишком справедливо. Все-таки точку в русско-немецком противостоянии поставило не Ледовое побоище 1242 г., а «исключительное по кровопролитию» (Д. Г. Хрусталеv) ничейное сражение под Раковором 1268 г., вскоре после которого была установлена граница между Ливонским ордеиом и Новгородской землей. Русь потеряла Ливонию и Эстонию, но сохранила Карелию, Ижорскую и Водскую земли. Русско-немецкие (и русско-шведские) конфликты продолжались и позднее, но определившиеся в конце 1260-х гг. сферы влияния в целом оставались неизменными. Конечно, кровавые перипетии этой борьбы не могли не изменить отношение русских к латинянам в худшую сторону.

Распад «Русской Федерации»

И еще одно крайне важное – хотя и косвенное – последствие монгольского нашествия и ига. Они оборвали экономические и культурные связи между Восточной и Западной Русью, тем самым подготовив и политическое их разобщение. Киев прекратил быть даже формальным политическим центром, там вообще надолго не стало княжеского стола. Западные земли (Полоцкая, Киевская, Волынская, Черниговская, Смоленская и др.), добровольно ли, спасаясь от прелестей ордынского «симбиоза», вынужденно ли, под напором находившегося на подъеме воинственного Литовского государства, постепенно вошли в состав последнего. Так окончила свое существование «Русская федерация», так начался социокультурный раскол между ее прежними частями, последствия которого мы сегодня столь остро и драматично переживаем.

В то же время распространение русского этнонима в расколовшихся частях КР не только не уменьшилось, но, напротив, значительно возросло, по крайней мере среди интеллектуалов. Как показал Б. Н. Флоря, в летописях и иных литературных памятниках второй трети XIII–XIV в. понятия «Русь» и «Русская земля» уже не обозначают среднего Поднепровья, зато активно распространяется представление о Руси «как особом целом, отличном от соседей». Наиболее

показательно в этом отношении «Слово о погибели Русской земли» (1238–1246), где границы последней очерчиваются от «угор», «ляхов» и «немец» на западе до волжских болгар на востоке, а населяет ее, согласно автору, единый «христианский народ» (в оригинале – «язык»), то есть русская идентичность здесь мыслится исключительно как религиозная. Галицко-волынские, суздальские и новгородские летописи все чаще называют свои земли и своих князей просто «русскими».

Таким образом, произошедшая катастрофа, ностальгия по утраченному единству обострила русское (прото)национальное самосознание. Павший Киев передал русское знамя другим столицам. Но во всех этих осколках былой «федерации» формировались *разные* версии русскости, в зависимости от преобладания одного из трех главных политических элементов КР – демократического, монархического и аристократического.

Запад, как уже говорилось выше, попал под власть Литвы (за исключением Галича, захваченного Польшей) и позднее вошел в состав польско-литовской Речи Посполитой, то есть стал частью периферии западноевропейского мира. Стоит отметить, что, вопреки еще одному евразийскому мифу, это никак не связано с политикой «западника» Даниила Галицкого. Последний хоть и принял королевскую корону от папы римского, но ни малейшей помощи от католиков не получил и был вынужден, как и Александр Невский, покориться Ор-

де. А созданное им Галицко-Волынское княжество пережило своего создателя на несколько десятилетий.

Великое княжество Литовское, которое почти на девять десятых состояло из русских земель с гораздо более высоким уровнем развития, чем у собственно литовских, вполне могло бы стать новым центром общерусского единства. Литовские князья до конца XIV в. не покушались на русские социально-политические институты и веру, более того, русский язык активно использовался в сфере государственного управления. Но, соединившись с Польшей и приняв католичество, шанс стать Новой Русью ВКЛ упустило.

Русское самосознание на Западе не только не исчезло, но в каком-то смысле, из-за инородного и инославного окружения, даже усилилось. Однако социальное бытие ВКЛ, где в управлении преобладал аристократический элемент (изначально сильно развитый и в Галицко-Волынской Руси с ее влиятельным боярством), сильно отличалось от образа жизни русских Востока. А с вхождением в ареал польского влияния прежнее русское культурное доминирование было утрачено, и сама Западная Русь стала постепенно полонизироваться. Но об этом мы подробнее поговорим в следующих главах.

Демократические традиции КР вполне успешно сохранялись и даже развивались в некоторых землях подмонгольской Руси, находившихся в наибольшем удалении от азиатских собратьев по «симбиозу» – в северных республиках

Новгороде и Пскове и северо-восточной Вятке.

В Новгороде – хотя он и вынужден был признавать власть великого князя, утверждаемого Ордой, – начиная с 60-х гг. XIII в. княжеское влияние «свелось к минимуму» (В. Л. Янин). Князь не имел права собирать государственные доходы с Новгородчины (это делали сами новгородцы), владеть там на правах частной собственности земель, выносить судебные решения без санкции городского правления. В 1384 г. новгородцы провозгласили свою неподсудность московскому митрополиту, а наименование города *Великим*, произошедшее в конце XIV в., как бы уравнивало его с великим князем. С 1290-х гг. в Новгороде начали происходить ежегодные выборы главы государства – посадника, главы купечества и свободного ремесленного населения – тысяцкого и главы черного духовенства – архимандрита. С 1354 г. посадничество стало коллегиальным, то есть каждый из новгородских *концов* (районов) избирал своего посадника, а на общем вече избирался главный (степенный) посадник. Однако со второго десятилетия XV в. в управлении Новгорода стали преобладать боярско-олигархические тенденции в венецианском духе, что привело к конфликту между «верхами» и «низами».

В Пскове полномочия князя были существенно больше. В частности, он обладал судебной властью, но судил не единолично, а во главе судебной коллегии, куда входили посадник и сотские (уполномоченные представители городского

населения). И так по всем звеньям городского управления – княжеская администрация не работала отдельно, «она всюду смыкается с независимой администрацией вечевых городов-земли» (Ю. Г. Алексеев). Посадничество во Пскове, как и в Новгороде, получило коллегиальный характер, представляя все концы города. Степенный посадник был подотчетен вечу и, во всяком случае, формально не пользовался никакими привилегиями. Внесение изменений в городское законодательство было предметом обязательного обсуждения на вече.

Еще одно интересное наблюдение специалистов, касающееся и Новгорода, и Пскова, – там не образовалось «аристократических» и «демократических» концов, знать и простолюдины жили едиными территориальными общинами, и боярские усадьбы перемешивались с домами «черного» торгово-ремесленного населения.

В Вятке (Хлынове) князя вообще не было. Верховная исполнительная власть там принадлежала земским воеводам, которых выбирало вече из числа местных бояр.

Но на большей части Восточной Руси развитие шло совсем в другом направлении. В сфере социально-экономической происходил упадок городов из-за монгольских погромов и свертывания торговли, сельское хозяйство превращалось в основную отрасль экономики, удельный вес сельского населения теперь увеличился, предположительно, до более 95 %. В сфере политической – заметен рост княжеской вла-

сти. Во-первых, князья в качестве ордынских вассалов, чья власть основывалась на ханском ярлыке, сделались фактически неподотчетными вечу. Во-вторых, роль главных землевладельцев и землеустроителей также выводила их за пределы компетенции городского самоуправления. Влияние вечевых институтов резко ослабло, хотя они и не исчезли и время от времени о себе напоминали во время городских восстаний. Боярство держало сильнейшую сторону и спланивалось вокруг князей. Естественно, что на Востоке, прежде всего в землях, составлявших Суздальскую Русь, где и прежде княжеские прерогативы были весьма значительны, монархический элемент стал доминирующим. Так приготавливалась почва для будущего московского самодержавия.

Глава 2. Принцип Москвы

«Москва не есть просто город; не кирпич и известь ее домов, не люди, в ней живущие, составляют ее сущность. Москва есть историческое начало, Москва есть принцип», – писал в 1865 г. М. Н. Катков. Хорошо сказано! Но в чем суть этого принципа? Сам Катков определяет его так: «Единство и независимость Русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертв и усилий...» Да, это верно, но в публицистической патетике трибуна русского охранительства теряются очень важные специфические детали, собственно и составляющие особый дух любого большого исторического явления. На них уже позднее указали наши выдающиеся историки.

В. О. Ключевский отмечал «боевой строй» Московского государства, его «тягловый, неправовой характер» («слова отличались не правами, а повинностями, между ними распределенными») и особенность верховной власти «с неопределенным, то есть неограниченным пространством действия...» «Не ограниченное никакими нормами... самодержавие» и «служба и тягло» как «государственное назначение... основных слоев населения» – вот главные элементы московской социально-политической системы по А. Е. Преснякову. Г. В. Вернадский говорил о «московском принципе полного подчинения индивида государству». С. Б. Веселов-

ский – о политике «общей нивелировки и подчинения всего и всех неограниченной власти московского государя во всех областях жизни...». К этим чеканным формулировкам мало что можно добавить.

Москва действительно привносит совершенно новый принцип, практически антитезу киевскому. Более того, это и есть основной принцип русского исторического бытия. Ни Петербург, ни Советы, вроде бы резко от Москвы отталкивающиеся, прикрывающиеся импортированной западной маскировкой, во многом существенном и впрямь иные, нисколько не отменили его, скорее, напротив, усовершенствовали, приспособив для его реализации гораздо более эффективные инструменты. И даже еще больше: сегодня нам тщетно искать следов домонгольской старины, кроме как археологических, зато московский принцип вполне себе полноценно сохранился в социально-политическом строе Российской Федерации, составляя его сердцевину. Власть, как и в XV–XVII вв., обладает «неограниченным пространством действия», народный быт и психология продолжают по большей части быть «служило-тягловыми». «Московский человек», проникновенно описанный Г. П. Федотовым, сочетающий в себе, с одной стороны, фаталистическую выносливость и терпение, с другой – внезапные вспышки «дикой воли», и ныне являет собой самый массовый русский тип.

Но, разумеется, в полной мере принцип Москвы раскрылся не сразу. Это уже задним числом мы отбрасываем все

«нехарактерное» и создаем «идеально-типический» образ эпохи. В самом же историческом процессе «нехарактерное» может быть весьма важным фактором. По крайней мере, до конца XVI столетия мы видим множество пережитков Киевского периода – «старину и пошлину», которую московские государи не только усердно ломали, но порой вынуждены были с ними и мириться. Наконец, само же самодержавие делало иногда ходы, либо противоречащие его собственному принципу, либо потенциально способные выстроить совсем иную перспективу развития страны. «Нивелировка и подчинение всего и вся» в XV–XVI вв. – пока только замах московской власти, заявленный ею потенциал, но отнюдь не эмпирическая реальность «цветущей сложности» русской жизни с остатками удельных княжеств, особыми правами и обычаями разных земель и социальных групп. В этой главе речь пойдет именно о данном периоде.

Москву сейчас модно ругать, и есть за что, с учетом живучести ее самых неприятных установлений. Но у нее имеются и бессмертные заслуги. «...Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни», – замечательно определил А. И. Герцен двойственность ее исторической роли. Попробуем же, обсуждая, а не осуждая последнюю, помнить об этой двойственности и соблюдать справедливость в приговорах.

Самочинное личное властвование

Итак, главное новшество, внесенное Москвой в русскую историю, – «не ограниченная никакими нормами» власть великого князя/царя. Именно отсюда берет истоки феномен «русской власти» – «автосубъектной и надзаконной», не имеющей «аналогов ни на Западе, ни на Востоке», ибо «на Востоке, будь то Япония, Китай или Индия, власть тэнно/ сегуна, хуанди или султана была ограничена – традицией, ритуалом, обычаями, наконец, законом», а на Западе даже «власть абсолютных монархов ограничивалась правом, на котором строился весь... порядок: король, даже если речь идет о Франции XVII–XVIII вв., считающейся модельной абсолютной монархией, мог менять законы (хотя и это было вовсе не так просто), но он должен был им подчиняться» (А. И. Фурсов).

Тем более ничего близкого мы не видим среди европейских монархий XV–XVI вв. В Англии действует Великая хартия вольностей (1215), по которой король не имел права устанавливать налоги и повинности без согласия представителей сословий, с конца XIII в. регулярно собирается двухпалатный парламент. В Священной Римской империи – Золотая булла (1356), признававшая суверенитет курфюрстов – вассалов императора в их владениях. В большинстве германских княжеств объявление войны и заключение союзов

их правителями делалось только с санкции сословий – духовенства, дворянства и бюргеров. В Швеции Вольная грамота (1319) закрепила взаимные обязательства короля и знати, там действовал сейм с очень широкими полномочиями: «Ни одна война не может быть объявлена и ни один мир не может быть заключен иначе, как с согласия сейма – стереотипные фразы, встречающиеся на каждом шагу в шведских законах и сеймовых постановлениях» (В. Н. Латкин). Польша (а затем и Речь Посполитая) и Венгрия (до вхождения в империю австрийских Габсбургов в 1687 г.) были избирательными монархиями, где законодательная власть находилась в руках сейма, а знать имела юридически зафиксированное право на восстание против короля во имя своих прав и свобод.

Во Франции, где королевская власть была очень сильна, на заседании Генеральных штатов в 1484 г. один из депутатов произнес такую речь: «...короли изначально избирались суверенным народом... Каждый народ избирал короля для своей пользы, и короли, таким образом, существуют не для того, чтобы извлекать доходы из народа и обогащаться за его счет, а для того, чтобы, забыв о собственных интересах, обогащать народ и вести его от хорошего к лучшему. Если же они поступают иначе, то, значит, они тираны и дурные пастыри... Как могут льстецы относить суверенитет государю, если государь существует лишь благодаря народу?» Речь эта, по свидетельству современника, «была выслушана всем собранием очень благосклонно и с большим вниманием». И

хотя как раз с конца XV в. значение ГШ резко падает (но тем не менее они продолжают спорадически собираться до начала XVII в.), в ряде областей не прекращали успешно действовать местные штаты, а провинциальные верховные суды – парламенты имели право приостанавливающего вето на королевские указы. «Франция – это наследственная монархия, умеряемая законами», – писал в XVI в. один из видных французских юристов. Феодалная вольница отошла в прошлое, но некоторые аристократы вплоть до эпохи Людовика XIV легко становились в смутные времена вполне самостоятельными политическими субъектами со своими армиями.

Даже в первопроходце европейского абсолютизма – Испании Филипп II не решился отменить автономию мятежного Арагона. Присягу арагонских кортесов (сословно-представительного собрания) испанскому королю невозможно представить в устах подданных московского самодержца: «Мы, столь же достойные, как и ты, клянемся тебе, равному нам, признавать тебя своим королем и верховным правителем при условии, что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы, а если не будешь – то не будешь и королем». Испанские короли, по крайней мере, теоретически могли быть привлечены к суду, подобно любому своему подданному. «... В основных законах почти всех европейских государств – за исключением России – подчеркивалось, что королевская прерогатива не распространяется на жизнь, свободу и соб-

ственность подданных» (Н. Хеншелл).

Наконец, и в Византии, ошибочно считающейся образцом для русского самодержавия, императорская власть была неформально ограничена, во-первых, отсутствием определенного порядка престолонаследия, что заставляло претендентов искать поддержку в обществе, во-вторых, силой традиционных норм поведения монарха. Положение басилевсов было крайне неустойчивым – немногим менее двух третей из них погибли в результате заговоров или вынужденно отреклись от престола.

Суть же московского самодержавия определить иначе, нежели *произвол*, затруднительно. Государева воля, «самочинное личное властвование» (А. Е. Пресняков) здесь – единственный источник власти и закона. Она не связана никакими писаными нормами и даже если сама на себя какие-то обязательства накладывает, то затем легко их сбрасывает, буде в том нужда. Имперский посол в «Московии» барон Сигизмунд Герберштейн так характеризовал стиль правления Василия III: «Властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира... Всех одинаково гнетет он жестоким рабством... Свою власть он применяет к духовным, так же как и мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него...» «Правление у них [русских] чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного ца-

ря и, сверх того, самым явным и варварским образом», – пишет о времени Федора Ивановича английский посланник Джильс Флетчер. Могут возразить, что иностранцы-русофобы просто-напросто клеветают на наше Отечество, но факты их выводы скорее подтверждают. Не будем вспоминать опричнину – экстрим есть экстрим. Приведем лучше в пример будничную управленческую технологию московского правительства начиная с Ивана III – насильственные многотысячные переселения своих подданных с места на место, «перебор людишек». Ничего подобного тогдашняя Европа не знала.

Иван III, присоединяя Новгород, в январе 1478 г., дал ему жалованную грамоту о соблюдении ряда новгородских вольностей, где в первую очередь обещал не выводить новгородцев в другие земли и не покушаться на их собственность. Но менее чем через десять лет великий князь свое обещание нарушил. В 1487 г. из Новгорода было выведено более семи тысяч «житых людей» (слой новгородской элиты между боярами и средними купцами). В 1489 г. произошел новый вывод – на сей раз более тысячи бояр, «житых людей» и «гостей» (верхушка купечества). С учетом того, что население Новгорода вряд ли превышало 30 тыс., это огромная цифра, почти треть жителей. Вотчинное землевладение новгородских бояр было ликвидировано.

В 1489 г. та же участь постигла Вятку: «воиводы великаго князя Вятку всю розвели», – сообщает летописец. Еще в

1463 г. «простились со всеми своими отчинами на век» ярославские князья и «подавали их великому князю... а князь велики против их отчины подавал им волости и сел»; в Ярославле стал хозяйничать московский наместник, который «у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю...».

Василий III верно следовал по стопам отца. Из Пскова в 1510 г. он вывел 300 семей, то есть более тысячи человек. Из Смоленска, которому, как и Новгороду, была дана жалованная грамота с гарантией «розводу... никак не учинити», зимой 1514/15 г. вывели большую группу бояр, а через десять лет – немалое количество купцов. Практиковались переселения и в других западнорусских землях (Вязьма, Торопец), вяземским «князем и панам», кстати, тоже обещали «вывода» не делать. На место прежних землевладельцев и купцов всюду пришли служилые и торговые люди из московских городов.

После этого беспредела стоит ли удивляться слабости института частной собственности на Руси? «Такое из ряду вон выдающееся вмешательство правительства в частную собственность, продолжающееся целые века, должно было значительно подорвать свойственную всякому собственнику мысль о неприкосновенности его владений» (В. И. Сергеевич).

И это только крупные, политические акции. А ведь московская власть использовала «выводы» и в экономике, пере-

брасывая успешных предпринимателей в регионы, требующие хозяйственного оживления. Так, после основания Архангельска, ставшего центром торговли с англичанами и голландцами, правительство царя Федора Ивановича приказало заселить его торговыми людьми из поморских посадов и волостей. В 1587 г. в новый город было направлено жить и работать 26 купеческих товариществ. Правда, такое государственное регулирование бизнеса не оказалось слишком эффективным, уже через десятилетие более половины переселенцев тихо вернулись по домам. С тем же энтузиазмом относились поморские деловые люди и к перемещению их с периферии в центр. «Двинский сведенец, московский жилец» Семен Кологривов, передавая в 1578 г. щедрый дар Сийскому монастырю, просит игумена взамен печаловаться перед царем о возвращении его вместе с сыновьями на родину. Однако печалование не помогло, два года спустя Кологривов снова упоминается как «московский жилец». А из столицы, как из Архангельска, так просто не скроешься...

Как видим, московский суверен действительно распоряжается своими подданными как ему заблагорассудится, не связывая себя какими-либо устойчивыми правилами. Он не просто верховный правитель, он, как типичный восточный деспот – *верховный собственник*. Он ощущает себя не просто главным, а *единственным* политическим субъектом на Руси.

Поэтому его сознательная и целенаправленная стратегия – недопущение появления других субъектов и борьба со

всем, что могло бы в такие субъекты превратиться. С любой автономностью, любыми зафиксированными правами и правилами. Ибо любая автономность, любые зафиксированные права и правила, любое ограничение произвола верховной власти могут стать потенциальной основой субъектности.

Характерны в этой связи упомянутые выше переговоры Ивана III с Новгородом зимой 1477/78 г. Новгородские представители, выдвинув условия, на которых они соглашались признать великого князя своим «государем», просили, чтобы он дал обязательство эти условия соблюдать («дал крепость своей отчине Великому Новгороду, крест бы целовал»). Но Иван Васильевич новгородские притязания отверг с порога: «Вы нынеча сами указываете мне, а чините урок нашему государству быти, и не то, которое государство мое». «Урок» – это определенные, точно установленные нормы, которые правитель обязан соблюдать. А «государь» (кстати, это слово в средневековой Руси означало – «хозяин»), в соответствии с принципом Москвы, не может иметь со своими подданными-«слугами» каких-либо договорных отношений. Изначальное намерение Ивана по отношению к Новгороду было «государствовать» там «так, как государствовал в Низовской земле, на Москве». Но, будучи политиком чрезвычайно осторожным, он решил преждевременно не загонять новгородцев в угол и в конце концов принял их условия, но не в форме договора, а в виде «милости», так и не скрепив ее крестным целованием и не разрешив этого сделать ни своим

боярам, ни будущему новгородскому наместнику.

Единственный среди московских Рюриковичей литератор (и, надо признать, литератор первоклассный) – Иван Грозный создал некое идеологическое обоснование своей и своих предков власти. Ее источник – Божья воля и «благословение» прародителей, она, таким образом, получена не от подданных, и с ними монарх ею делиться не обязан. «Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствами, а не бояре и вельможи... Доселе русские владельцы не истязуемы были ни от кого, но вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не судилися с ними ни перед кем». Без самодержавной власти государство невозможно: «Аще не под единою властью будут, аще и крепки, аще и храбри, аще и разумни, но обаче женскому безумию подобны будут». Ответствен государь только перед Богом и своей совестью. Подданные – рабы государя, «Божиим изволением деду нашему, великому государю Бог их поручил в работу», и подобает «царю содержати царство и владети, рабом же рабская содержати повеления». Выступать против монарха – все равно что бросать вызов самому Господу: «Противляйся власти, Богу противится, аще убо кто Богу противится – сей отступник именуется, еже убо горчайшее согрешение». По существу, покорность самодержцу объявляется религиозным догматом.

С нескрываемым презрением относится Грозный к европейским монархам, власть которых, так или иначе, ограни-

чивается их подданными: «А о безбожных языцех, что и глаголат! Неже те все царствии своими не владеют: как им повелят работные их, так и владеют». Сигизмунду II Польскому он пишет: «Еси посаженной государь, а не вотчинной, как тебя захотели паны твои, так тебе в жалованье государство и дали». Поскольку при заключении перемирия между Россией и Швецией его прочность со шведской стороны гарантировал не только король, но и, от имени сословий, архиепископ Упсалы, Иван саркастически заметил Юхану III, что шведский король «кабы староста у волости». (Предшественник Юхана – Эрик XIV, деспотическими замашками и психической неуравновешенностью весьма напоминавший своего русского коллегу, был незадолго до этого отрешен от власти постановлением сейма, что, конечно, не могло понравиться создателю опричнины.) Ну и знаменитая отповедь Елизавете I Английской: «...мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь... ажно у тебя мимо тебя люди владеют, не токмо люди, но и мужики торговые... А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица».

Насколько далека эта тотальная сакрализация верховной власти от скромных представлений о своих правах и обязанностях князей Киевского периода (достаточно вспомнить Поучение Владимира Мономаха)! Очевидно влияние на политическую теологию царя Ивана византийской религиозно-политической традиции. Но собственно византийский

след при формировании принципа Москвы виден только в идеологическом обосновании последнего (ну еще в заимствованиях из придворного ритуала). Даже двуглавый орел на гербе, скорее всего, перелетел от Габсбургов. Как уже говорилось выше, сама структура власти в Восточно-Римской империи была принципиально иной, да и русские власти никогда не заявляли себя преемниками византийских императоров. До брака Ивана III с Софьей Палеолог в 1472 г. контакты Москвы с ромеями были незначительными, а характерные московские политические практики (те же «выводы») просматриваются, как минимум, с начала 1460-х гг. Косвенно на усиление московской власти повлияло *падение* Константинополя, ибо теперь Рюриковичи становились единственными православными суверенами, и их гордыня не могла не увеличиться в гомерических размерах.

С. А. Нефедов акцентирует возможное турецкое влияние на преобразования Ивана III и опричнину Ивана IV. Возможно, он прав (еще Флетчер отмечал, что «образ правления» московских государей «весьма похож на турецкий, которому они, по-видимому, стараются подражать»), но сам принцип Москвы явно сложился раньше: служилый, а не вассальный статус московского боярства замечен уже со второй половины XIV столетия.

Ордынский след

Так откуда же взялась «фантастическая мутация» (А. И. Фурсов) власти на Руси, образовавшая такую пропасть между Киевским и Московским периодами? Безусловно, это ордынское наследие. Но опять-таки здесь не прямое влияние – Орду Москва не копировала, – а косвенное. Будучи ханскими ставленниками, московские князья могли не искать для себя опоры в русском обществе, полномочия же, даваемые им ханами, были огромными. Сам же характер ханско-княжеских отношений скорее напоминал подданство, чем вассалитет: ярлык на великое княжение у его обладателя могли отнять и передать конкуренту; князей нередко убивали в Орде без всякого суда; формы почтения по отношению к монгольским владыкам были крайне унижительны, с точки зрения европейско-христианского мира, к которому, как мы помним, Русь еще недавно принадлежала. Как писал еще Н. М. Карамзин: «Внутренний государственный порядок изменился: все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезло. Князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя верховного».

По элементарным законам социальной психологии, низестоящие переносят на следующих низестоящих в общих чертах ту структуру власти-подчинения, которая у них сло-

жила с вышестоящими. Неудивительно, что московские князья также захотели сделать из своих бояр бесправных подданных. Это, видимо, было не слишком трудно, ибо состав русской социально-политической элиты в монгольский период радикально сменился. Во время ордынского погрома Северо-Востока погибла большая часть дружинников, по косвенным данным, не менее двух третей. Как отметил В. Б. Кобрин, «среди основных родов московского боярства, за исключением Рюриковичей, Гедиминовичей и выходцев из Новгорода, нет ни одной фамилии, предки которых были бы известны до Батыева нашествия». Место наследственных аристократов заняли выходцы из менее привилегированных слоев, а иногда и вовсе бывшие княжеские рабы-холопы, для коих нарождающийся порядок казался естественным. (Кстати, холопы были весьма распространенной категорией московского населения – у некоторых бояр их насчитывалось до полутора ста – что накладывало характерный отпечаток на стиль жизни страны.) Показательно, что в Москве не действовало стандартное для феодальной Европы сословное ограничение на телесные наказания: знать подвергалась им наравне с простолюдинами – батоги, кнут, битье по щекам... Элита, в свою очередь, «самодержавствовала» по отношению к низам, последние следовали ее примеру. «Видя грубые и жестокие поступки... всех главных должностных лиц и других начальников, они [русские] так же бесчеловечно поступают друг с другом, особенно со своими подчинен-

ными и низшими, так что самый низкий и убогий крестьянин (как они называют простолюдина), унижающийся и ползающий перед дворянином, как собака, и облизывающий пыль у ног его, делается несносным тираном, как скоро получает над кем-нибудь верх», – вполне правдоподобно (ибо ситуация легко узнаваема) пишет Флетчер.

После того как при Дмитрии Донском московские князья получили ярлык на великое княжество Владимирское в наследственное владение, равных им соперников на Руси не осталось, и постепенно бояре из других земель стали подтягиваться под сильную руку, принимая местные обычаи.

Юридические нормы и в Киевской Руси не играли такой основополагающей роли, как в ареале господства римского права – Западной Европе и Византии, но все же в КР существовал и соблюдался неписанный договор между князем и дружиной, накладывавший обязанности на обе стороны. Новое положение власти и новый характер элиты позволили окончательно заменить договорные отношения между ними отношениями правителя и подданных. Раньше дружинник мог свободно поменять место службы, «отъехать» от одного князя к другому. Но уже со второй половины XIV в. «отъезды» практически прекращаются, а с конца следующего столетия «отъезжать» стало просто некуда, разве что бежать в перманентно воюющую с Москвой Литву, что воспринималось как измена. Уже в ту пору критерий «службы» стал играть в формировании социально-политической элиты

определяющую роль: «В Московской Руси место человека на лестнице служилых чинов... определялось не только происхождением, но и сочетанием служебной годности и служб человека с учетом его родовитости, то есть служебного уровня его „родителей“, родичей вообще, а в первую очередь его прямых предков» (С. Б. Веселовский).

Служилый характер аристократии еще более усилился после широкого внедрения при Иване III новой, условной формы феодального землевладения – поместья. Напомню, что именно в поместное владение двум тысячам человек были розданы огромные земли, конфискованные у новгородских бояр, что позволило содержать большое и непосредственно зависящее от великого князя профессиональное войско. Это было «грандиозной, по тогдашним масштабам, и смелой реформой» (С. Б. Веселовский). К середине XVI в. поместное войско составляло, по разным оценкам, от 20 до 45 тыс. человек, в него «верстались» представители самых разных слоев населения, вплоть до боярских холопов. В поместную раздачу шли и другие конфискации по окраинам – Псков, Вязьма, Смоленск, а также дворцовые земли великого князя и земли черносошных крестьян (лично свободных, но платящих государству налоги и несших в отношении его ряд повинностей – тягло). Поместье давалось за службу – бессрочную, пока у помещика на нее доставало сил; в отличие от вотчины, оно не являлось частной собственностью и могло быть отобрано в случае уклонения от службы. Впрочем, и на

вотчинную, частную собственность московские самодержцы последовательно накладывали ограничения, а со второй половины XVI в. за уклонение от службы отбирались уже и вотчины.

Еще один важный фактор – с упадком городов после монгольского нашествия закатилось и значение вечевых структур. В Москве уже в 1374 г. был ликвидирован институт тысяцких, возглавлявших городское самоуправление, хотя и раньше они там не избирались, а назначались князем. Городское сословие как серьезная общественная сила в Московской Руси так и не сложилось. Большинство городов, за исключением поморских, некоторых поволжских и таких гигантов, как Москва, Новгород, Псков, были скорее крепостями, чем торгово-промышленными центрами. Собственно посадские жители в них количественно явно уступали совокупным служилым людям и обитателям «белых» (не тянувших государево тягло) слобод, принадлежавших светским и церковным вотчинникам. Поэтому и не могла там сложиться городская самоуправляющаяся община, подобная западноевропейским коммунам.

Таким образом, у московской власти не осталось никаких социальных противовесов. Еще с 20-х гг. XIV в. верным ее союзником становится церковь, перенесшая в Москву резиденцию митрополита всея Руси. Именно церковные писатели XV–XVI вв. вроде Иосифа Волоцкого приготовили почву для апологии самодержавия Ивана Грозного своими сен-

тенциями о том, что «царь убо естеством подобен человеку, властию же подобен есть вышнему Богу». Оговоримся, что были у того же Волоцкого и недвусмысленные обличения тирании и призывы к сопротивлению ей, аналогичные учениям западноевропейских богословов XII–XIII вв. Иоанна Солсберийского и Фомы Аквинского: «Аще ли же есть царь, над человеки царствуя, над собою имать царствующа скверныя страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейшиже всех, неверие и хулу, таковый царь не Божий слуга, но диаволь и не царь, но мучитель... Ты убо такового царя или князя да не послушавши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучит, аще смертию претит». Однако в отличие от латинских авторов, отставивших особую духовную власть, независимую от светской, Иосиф и его последователи исходили из подчинения церкви государству как нормы. Более того, даже оппоненты иосифлян – нестяжатели во главе с Нилом Сорским не создали «никакого учения о пределах царской власти» (В. Е. Вальденберг).

Ордынское иго было сброшено под руководством москвичей, что добавило им авторитета и ореола, но властная структура, игом сформированная, осталась. Сохранилось и отсутствие ей противовесов. То, что без ордынской «мутации» принцип Москвы вряд ли бы возник и восторжествовал, видно на примере западнорусских земель, либо вовсе не затронутых монгольским нашествием, либо избавившихся от ига

столетием раньше. Подобная структура власти там не сложилась, хотя до монголов социально-политический строй на Западе и Северо-Востоке был в общих чертах одинаковым.

Московское самодержавие, как правило, объясняют и/или оправдывают тем, что Москва была осажденной крепостью и постоянно вела войны за выживание. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что войны вообще оказывают огромное влияние на формирование государств и в основном способствуют росту авторитарных тенденций. Но в XIV–XVI вв. вся Европа только и делала, что воевала, однако нигде не возникло ничего похожего на «русскую власть», даже в Испании или Сербии, также боровшихся с опасными врагами с Востока. Разумеется, московские обстоятельства отличались особой экстремальностью, и та же практика «выводов» во многом служила материальному обеспечению поместного войска, но это не объясняет самого изобретения и возможности применения данной управленческой технологии. Сначала должна была произойти какая-то важная культурная трансформация, отменившая устоявшиеся нормы. Что же касается «оправдательной» стороны вопроса, то далеко не все московские войны были оборонительными. И чем дальше, тем больше велось войн завоевательных. Походы на Казань еще можно назвать превентивной обороной, но войны с Литвой конца XV – первой трети XVI в., а уж тем более Ливонская война 1558–1583 гг. – чистой воды агрессия. И если генезис самодержавия связывать напрямую с милитаризацией мос-

ковской жизни, то получается, что его несомненное усиление в указанный период обусловлено не обороной границ, а внешнеполитической экспансией.

Пределы самовластья

Любая власть по природе своей стремится к росту. Власть, не встречающая сильных препятствий, стремится к абсолюту. Но абсолютного на земле ничего не бывает, московская власть в этом правиле – не исключение. Ей не хватало для полного претворения в жизнь своего принципа подручных средств, «неограниченное самодержавие» долго оставалось весьма ограниченным в своих возможностях. Даже поместное войско – это еще не регулярная армия, которая начала формироваться только в середине XVI в. в виде стрелецких полков. Полиции, как постоянной государственной структуры, не существовало. Бюрократический аппарат, правда, как показывают новейшие исследования М. М. Крома и Д. В. Лисейцева, был весьма эффективен: и во время борьбы боярских кланов в малолетство Грозного, и в Смуту приказные учреждения работали более чем исправно. Но их штаты для такой большой страны были просто смехотворны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.